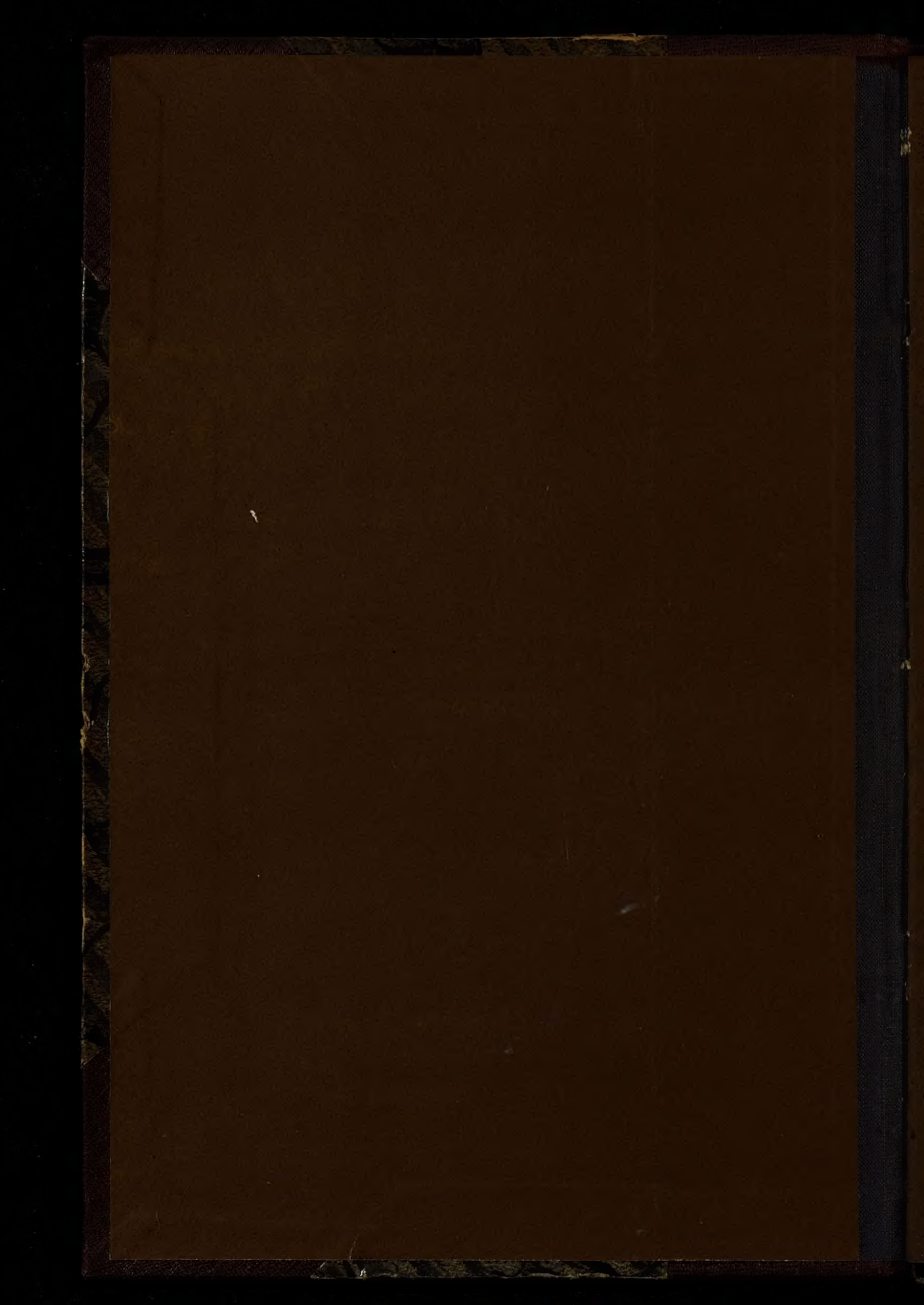
Ковалик

Рев. движен. семидесятых годов





С. Ф. КОВАЛИК

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ И ПРОЦЕСС 193-х

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

Изд-во ПОЛИТКАТОРЖАН Москва


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
И
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ

С. Ф. КОВАЛИК

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

И

ПРОЦЕСС 193-х

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА — 1928

Главлит № А 3714 Москва Тираж 3000 экз.

Книжная Фабрика Центриздата Народов СССР. Шлюзовая наб., 6

ОГЛАВЛЕНИЕ.

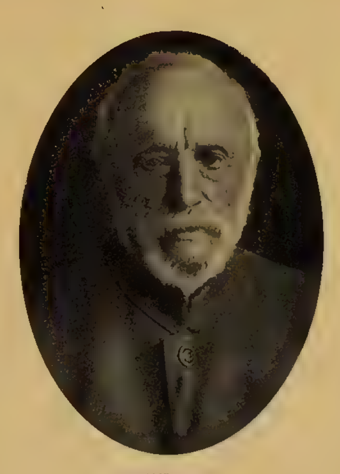
ПРЕДИСЛОВИЕ.

Сергей Филиппович Ковалик — одна из центральных фигур революционного движения первой половины 70-х годов. Для ознакомления с этой эпохой его воспоминания представляют исключительный интерес. В настоящем издании собраны все наиболее важные и ценные произведения С. Ф. Ковалика: его автобиография, напечатанная впервые в т. 40 Энциклопедического Словаря, изд. Русским Библиографическим Институтом Гранат, статья «Революционное движение семидесятых годов по Большому процессу», опубликованная в №№10—12 «Былого» за 1906 г. под псевдонимом «Старик», и статья «Революционеры народники на каторге и в ссылке», напечатанная в № 4 (11) «Каторги и Ссылки» за 1924 г.

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ КОВАЛИК



Семидесятые годы.



1925 год.

Из собрания „Музея Каторги и Ссылки"

Автобиография
Сергея Филипповича
КОВАЛИКА[1]

---

[1] Автобиография эта написана в декабре 1925 года в Минске. 26 апреля 1926 г. С. Ф. скоропостижно скончался от артерио-склероза, которым давно страдал.

Я родился 13/25 октября 1846 г. Отец мой, сын казака Полтавской губ., Зеньковского уезда, кончил военную школу в Петербурге, был патриотом и «верноподданным», тем не менее обскурантом он никогда не был и ко всем реформам, включая и освобождение крестьян, относился сочувственно.

При выходе в отставку он купил небольшое имение в Могилевской губернии, Черниговского уезда, в котором числилось около 100—150-ти душ крепостных крестьян. Крестьяне, вообще, относились к нему довольно хорошо.

Мать моя умерла от родов, когда мне было всего два года, так что до своего поступления в корпус в 1856 г. я был исключительно на руках отца — ни матери, ни бабушки я не знал. Отец мой тоже относился ко мне мягко и любовно, никогда не бил меня, и по времени, когда я рос, я представляю собой редкий экземпляр человека, которого ни разу в жизни не коснулась чужая рука. Даже в корпусе как-то случилось так, что меня ни разу не высекли и не побили ни начальство, ни товарищи.

Мне пришлось провести в кадетском корпусе, до преобразования, семь лет и один год, после преобразования, в военном училище. Корпус, в который я поступил, все время странствовал — его переводили из одного города в другой. Он назывался сперва Брестским, по месту своего нахождения, затем Александровским-Брестским и, наконец, просто Александровским. Я приехал в корпус, когда он находился в Москве, затем нас перевели в Вильно и в 1863 г. в Петербург. В это время происходило преобразование корпусов в военные гимназии с выделением двух специальных классов во вновь открываемых военных училищах, куда я и попал. При моем поступлении в корпус, там держалась еще ненарушимо старая «николаевская» дисциплина. Воспитатели были большей частью мало образованные офицеры. По субботам назначались сечения розгами за неуспехи в науках и разные проступки. Особенно свирепым мы считали командира младшей (неранжированной) роты, шведа Гренквиста. Года три он допекал нас, как мог,

но потом с ним произошла какая-то радикальная перемена — он стал самым гуманным из нашего начальства. Повидимому, и его коснулись веяния будущих шестидесятых годов. В детских годах я не был шаловлив. Ротный командир почему-то не издевался надо мною, а товарищи относились ко мне хорошо и не требовали моего непременного участия в их проделках. В корпусе, во время нахождения его в Бресте, было много кадет поляков. С переездом в Вильно опять стало поступать несколько больше поляков, чем в Москве, так что в общем число их равнялось числу русских кадетов. Обе национальности хорошо сжились между собою, так что между ними никаких недоразумений не происходило. Во время нашего пребывания в Вильно сменили директора корпуса на более мягкого, хотя и не любимого нами. Среди остального начальства и учителей стали появляться отдельные личности, слегка затронутые веяниями шестидесятых годов. К нам, неизвестно откуда эти веяния тоже частью проникли. В 1861 или в 1862 г. у нас образовался небольшой кружок самообразования. По вечерам мы, члены кружка, и все, кто пожелает, собирались для чтения книг и журналов. Во главе кружка стоял уже взрослый кадет Литвинов, назначенный в мою роту унтер-офицером или чуть ли не фельдфебелем. Он уже был тронут настроениями того времени и старался вести наши чтения и беседы в духе настоящего самообразования. Потом мне в 1864 г. пришлось встретиться с ним в Петербурге. Он, хотя и был еще в Артиллерийском училище, ходил в красной рубахе и вел самые революционные речи. Во время затишья самого начала 70-х г.г. я разыскал его в Петербурге. Он был воспитателем в Пажеском корпусе и уже не интересовался никакими общественными вопросами. Ко времени польского восстания в 1863 г. нам удалось один или два раза прочесть выходившие тогда в Петербурге прокламации, и мы все более и более проникались, если не революционными, то оппозиционными идеями. Начальство, повидимому, стало подозревать о нашей неблагонамеренности и, как будто, хотело что-то предпринять. Мы тогда образовали небольшой кружок, с целью сопротивления и борьбы с начальством. Это был своего рода «террористический» кружок, но ничего не пришлось ему предпринять. Польское восстание не вызвало у нас никаких сколько-нибудь крупных откликов. Только один кадет, Станкевич, из отпуска не вернулся в корпус, а примкнул к восстанию. Однажды, во время проезда мимо наших окон генерала Ганецкого, одного из усмирителей восстания, мы стали кричать в окно: «дурак!». Эта история для нас кончилась ничем, так как начальство не могло разыскать, кто кричал.

В 1863 г., опасаясь польского восстания, нас таинственно, ночью, вывезли из Антоколя — так называлось место около Вильно, где мы помещались — под большим конвоем солдат, посадили в вагоны и увезли в Петербург, где осенью меня определили во 2-й специальный класс Павловского военного училища.

Находясь в училище, я встретился с бывшими кадетами разных корпусов. Познакомившись с ними, я вывел заключение, что более выдающиеся личности попадались из тех корпусов, преимущественно провинциальных, где дело воспитания было поставлено хуже всего. Очевидно, в то время, под влиянием доходивших до нас идей, мы сумели путем самообразования достигнуть того, что оказалось невозможным для петербургских товарищей.

В училище нам разрешалось несколько раз в неделю уходить в город к родным и знакомым. Несколько человек из моих старых товарищей наняли в Петербурге небольшую комнату, накупили разных дешевых приборов и химических веществ и занимались там химией. Опыта у нас было мало и однажды, при взрыве стеклянного сосуда, я чуть не потерял глаза. Кроме занятий в нашей лаборатории, мы посещали также знакомых в городе и понемногу входили в курс движения 60-х годов. Пробыв год в училище, я должен был выйти в армию офицером, но мне хотелось поступить в университет; директор училища, известный Ванновский, в виду особой просьбы сестер, указывавших на то, что я нужен в доме для ведения хозяйства, согласился освободить меня от военной службы и выпустить из корпуса с чином губернского секретаря.

В том же 1864 г. я поступил вольнослушателем в Петербургский университет, а в следующем году должен был держать экзамен по всем гимназическим предметам, чтобы иметь право перечислиться в студенты. Гимназический экзамен я сдал в Могилеве. С гимназическим аттестатом я перевелся из вольнослушателей в студенты, но мне трудно было платить за слушание лекций, и потому я скоро опять записался вольнослушателем по двум или трем предметам, что выходило гораздо дешевле. В университете я избрал математический факультет. К математике я был всегда способен и еще в корпусе ознакомился с высшей математикой, которая там не преподавалась. Поэтому учиться в университете мне было легко и я редко посещал лекции. Свободное время я использовал для занятий в Публичной библиотеке, где я читал книги по физике и химии, главным образом. Между прочим, я узнал, что в то время еще не было известно, в каких случаях в гальванической батарее может получиться разная сила тока при трате одной частицы химической материи. Я долго думал об этом вопросе и составил соб-

ственную теорию, дававшую возможность по химическому составу тел определить силу тока. Теория моя, конечно, не была вполне научно обоснована и не была бы принята, если бы я ее опубликовал, но я упомянул о ней более для характеристики профессуры того времени. Я познакомил с ней одного профессора в Киеве, где сдавал кандидатский экзамен, и он нашел, что я плохой математик, и несмотря на то, что я хорошо выдержал экзамен по физике, общей и математической, которую я особенно основательно знал, поставил мне по первой — 5, а во второй — 4. Как ни была плоха моя теория, но я все же и теперь думаю, что она представляла небольшой шат вперед в науке тогдашнего времени.

Впрочем половину или больше времени свободного от посещения лекций я тратил на ознакомление с тогдашнею жизнью молодого поколения и с новыми идеями того времени. Уже тогда образовались особые радикальские кружки в разных городах, но они очень мало занимались практическою работою в революционном духе, и я в то время ими мало интересовался. После польского восстания в 1863 г. движение 60-х годов, как мне казалось, начало утрачивать свою яркость. Одну из главнейших причин этого я видел в том, что молодежи пришлось окончательно решить вопрос, на чью сторону она должна встать, — на сторону ли поляков, желающих завоевать свою свободу, или вместе с русскими, настроенными патриотически против поляков, не давать повстанцам возможности убивать своих сограждан, служащих в действовавших русских войсках. Молодое офицерство уже заколебалось и, несмотря на свои часто ультра-радикальные взгляды, не решилось изменить присяге, т.-е. им казалось, своему отечеству. Я не скажу, что этот конфликт мнений проявлялся вполне ясно, но дело походило на то, как во время войны с Японией, когда социалистические партии решали, что это война не наша, а русского царя, некоторые же из радикалов и даже социалистов, быть может, после более или менее долгих колебаний, решили не уклоняться от войны и тем не дать возможности японцам громить Россию. Разумеется, кроме указанной, были и другие причины ослабления радикально-революционного духа среди интеллигенции. Во всяком случае к началу семидесятых годов уже замечается упадок в настроении русской интеллигенции.

В 1868 г. я, желая главным образом переменить место, отправился в Киев и там записался вольнослушателем в Киевский университет, а в 1869 г. выдержал экзамен на степень кандидата математических наук. Не успев получить диплома, я и некоторые другие бывшие студенты Киевского университета получили предложение управляющего акцизными сборами Волынской губ. поступить к нему на службу, как нам было

известно, для искоренения, главным образом, взяточничества среди чиновников. Я принял предложение и занял должность помощника надзирателя в Старо-Константинове. Но так как мысли мои были заняты общественными вопросами, то я по истечении годичного срока службы вышел в отставку.

Упадок активности среди интеллигентной молодежи для меня тогда представлялся вполне ясным, и я очень обрадовался, встретив Ивана Дебогория-Мокриевича, брата известного революционера Владимира, который собирал молодых людей для переселения в Северо-Американские Штаты и насаждения там коммунистической жизни. У нас было несколько собраний, на которых обсуждался вопрос об образовании нашей коммуны, и выделены были три делегата: Мачтет, будущий писатель, Речицкий, бывший революционер 60-х г., и учитель гимназии Романовский, которые должны были немедленно ехать в Америку и искать место для коммуны. Они отправились сразу в малонаселенные западные штаты, но там с ними произошло несчастие. Пробуя свои ружья, кто-то, Мачтет или Речицкий, кажется последний, как-то тяжело ранил Романовского. Американская община, куда они явились после выстрела, судила их, но оправдала и даже несколько дней подряд приглашала их в свои дома. Романовский же вскоре после ранения умер.

Описанное событие, может быть, было последним ударом, но кружок наш, заметив некоторое оживление в интеллигенции, стал сомневаться в пользе переселения в Америку и, мало-по-малу, всем своим составом перешел на революционную работу в России. В последнее время существования кружка, еще до распада его, я был избран Мглинским земством Черниговской губернии мировым судьей, а затем судьями — председателем с'езда мировых судей и месяцев восемь исполнял эти новые обязанности до получения бумаги о неутверждении меня Сенатом в должности мирового судьи. Предоставило мне эту должность только что вновь избранное, по инициативе Байдаковского, крестьянское земство, сменившее прежнее крепостнического направления. Уже самый выбор меня вызвал подозрения крепостников, а затем характер моего «судейства» вызвал еще большее раздражение с их стороны. Однажды ко мне пришли несколько крестьян жаловаться на одного ростовщика-еврея, что он вторично взыскивает с них долг, уже не на основании их первоначальных расписок, а по мировой записи, заключенной у крепостника-судьи, моего предшественника, по которой они соглашались уплатить ему в общем порядочную сумму. Я снача недоумевал, что могу сделать против мировой сделки, заключенной у мирового судьи и потому не допускавшей по закону свидетельских показаний для ее опро-

вержения. Но, рассмотрев дело, я увидел, что не было никакого искового прошения со стороны истца, а просто он и ответчики заключили, вместо крепостного акта, сделку в суде. Поэтому я вынес решение, что в законе не указаны, как неопровержимые документы, равные нотариальным актам, сделки за подписью мирового судьи, и потому должны быть допрошены свидетели, как это было бы сделано в случае простой, никем не засвидетельствованной расписки. Свидетели показали, что долг крестьяне уже заплатили и потому я отказал в иске ростовщику. После этого у крепостников поднялся шум против меня, как человека, отменяющего решения мирового судьи, якобы законно составленные. Мировой с'езд, в который была подана апелляция ростовщика, согласился с моим решением, но это не примирило со мной крепостников.

Кроме исполнения своих судейских обязанностей, я, живя во Мглинском уезде, пробовал устроить несколько пунктов для пропаганды среди крестьян. Предварительно я отправился в Петербург, где по случаю такого редкого явления, как судья-революционер, собралась сходка тамошних радикалов, среди которых находился и Долгушин. Он рассказал мне, что у него есть кружок, который имеет в виду поселиться среди крестьян для пропаганды революционных идей. Уже в то время Долгушин был таким же революционером-народником, как два-три года спустя тысячи молодых интеллигентов, вошедших в так называемый, большой процесс, или процесс 193-х. Я обещал Долгушину подготовить для него в Мглинском уезде подходящие места и успел найти вскоре одно, но у Долгушина было мало людей, и потому никто не приехал.

Оставив судейскую должность, я, кажется, в 1871 г. переехал в Петербург. Вскоре там был об'явлен конкурс на должность профессора математики в Институте Путей Сообщения. Я подал соответствующее заявление. Мне сказали, что я должен буду прочесть две пробных лекции — одну на заданную тему, другую на свою. Я подготовился, но узнал, что, кроме меня и Поссе, кандидатов математического факультета, заявили желание занять должность несколько профессоров, от которых не требовалось прочтения пробных лекций. Я уже начал сомневаться, стоит ли итти на испытание, но все-таки пошел. У стола сидело несколько профессоров и директор института все, мне показалось, глубокие старики. Один только кивал мне головой, когда я прочел первую лекцию на заданную тему, остальные же как будто относились безучастно. Я решил, что у них уже есть намеченный кандидат из бывших профессоров, и отказался читать лекцию на свою тему. Оказалось, что я ошибся — назначен был профессором Поссе, который, вполне возможно, был способнее меня, но соревнова-

ния которого я не боялся. Владимир Дебогорий-Мокриевич в своих воспоминаниях посвятил мне несколько строк или даже страниц и, рассказав о том, что я готовился занять кафедру, добавил, что теперь, увлекшись революционной деятельностью, я бросил всякую мысль о профессуре. Но и он ошибся. Я, действительно, никогда не думал после этого о профессорской деятельности, но уже после революции в 1917 г., мне предложили читать лекции по высшей математике в г. Минске в Политехническом институте, ныне закрытом, и я согласился, после чего ректор Ярошевич отметил ошибку Мокриевича.

Я еще потому так легкомысленно отнесся к своей пробной лекции, что я в то время интересовался политическою деятельностью и искал соответствующих людей. Между прочим, еще будучи председателем с'езда мировых судей, я выписал из Киева на должность секретаря с'езда тамошнего радикала Каблица, который после моего неутверждения Сенатом также оставил службу во Мглине и тоже попал в Петербург. Здесь я с ним встречался, и мы обдумывали проект организации, которая занялась бы цареубийством и имела бы достаточно сил, чтобы после удачного или неудачного покушения могла бы повторить его. Но тут вскоре началось стихийное движение революционного народничества, и я решил, что прежде всего надо дать этому движению оформиться, а всякая попытка цареубийства могла бы только повредить нарождающейся революционной организации.

С тех пор — с конца 1872 или вернее с осени 1873 г. — я весь ушел в революционное движение. Сначала мы еще не имели сочинений Бакунина, трактующих об анархии, но я независимо от него пришел к мысли, что государство должно в конце-концов уступить место анархическому строению общества. В это время я встретился с Лермонтовым, ранее участником кружка Чайковского. Он хотел мне проповедывать анархию, но, увидев, что в этом нет надобности, сразу предложил отправиться за границу к Бакунину и Сажину, которые заняты вопросом об организации русского движения и о проповеди в России анархии. Я и без того уже начал заниматься этим, поэтому согласился на предложение Лермонтова и в конце 1873 г. поехал к Бакунину. Я должен был ехать на виллу Бакунина через Цюрих, где познакомился с Сажиным и Ткачевым, последний также собирался к Бакунину, и мы поехали вместе. В Цюрихе я встретился с Ткачевым у Петра Лавровича Лаврова и из некоторых фраз Ткачева заключил, что он хочет извлечь некоторую пользу для своего дела из знакомства с тогдашними лидерами народнической молодежи — Бакуниным и Лавровым. Бакунин очень хорошо принял Ткачева и, не встречая с его стороны возражений на высказываемые им мысли, рас-

стался с ним, как с членом будущей анархической организации, он не мог предполагать, что Ткачев в своем «Набате» будет скоро отрицать анархическое учение. Бакунин говорил нам об организации анархической партии и предлагал нам, не обнаруживая этого в революционных кружках, фактически стать во главе движения. Об этом несколько ранее была речь у Бакунина с Дебогорием-Мокриевичем. Я, конечно, не возражал против мысли Бакунина, так как и независимо от нее задачей нашей в движении могло быть не что иное, как организация участников его, и я был доволен, что к этому привлечено уже несколько выдающихся людей. К этому времени образовалось уже несколько революционных кружков, кроме старых, как напр. Чайковского и Волховского.

Человеку, не участвовавшему в этом движении, трудно представить тот энтузиазм, с которым относилась к делу тогдашняя революционная молодежь. Движение носило вполне стихийный характер. Масса интеллигентной молодежи, после даже непродолжительного обсуждения задач времени, заявляли, что все они бросают университеты и пойдут в народ. Я помню случай, когда один студент, будущий член моего кружка, разговорясь со мною, просил дать ему совет, продолжать ли учение, или бросить университет и итти в народ. Я не хотел в таком важном вопросе навязывать ему свою идею и ответил несколько уклончиво: если вы еще не обдумали этого вопроса, то оставайтесь в высшем учебном заведении. Он, должно быть, всю ночь думал и на завтра с радостью об'явил, что он решил итти в народ и бросить университет. К некоторым тогдашним кружкам уже присоединились по одному или по несколько рабочих и даже крестьян, с которыми ранее занимались старые радикалы и кружки вроде чайковцев, но в общем было заметно, что они не могут угнаться за быстрым течением движения и в нем играть сколько-нибудь видную роль, по крайней мере в первый период движения. Это и понятно. У рабочих тогда не было особого движения и тем более стихийного — оно наступило у них много позже (около 1905 г.) — поэтому часть рабочих даже отошла от движения.

Я не буду описывать народническое движение. Скажу только, что оно вспыхнуло с особенной силой осенью 1873 г., когда молодежь после летних каникул собралась в города, и что центром его был Петербург, Москва же, как и другие города провинции, получала толчек из Питера. В начале движения, среди его участников было много «лавристов», но вскоре анархисты взяли верх. Наиболее сильным кружком был кружок чайковцев, но в среде его были разногласия по вопросу об анархии и лавризме, так что он не стал во главе движения, хотя и сделал много для развития народничества; у него было

больше, чем у какого-либо другого кружка распропагандированных рабочих, занятия с которыми чайковцы начали еще ранее движения. В 1873 г. движение сразу приобрело массовый характер и питалось местными силами, пользовавшимися, конечно, заграничными революционными изданиями, как «Государственость и анархия» Бакунина, «Исторические письма» Миртова (Лаврова) и пр.; имели значительное влияние и статьи Чернышевского, сосланного еще в 60-х годах, но современная журналистика не давала почти никакой пищи для движения. Участники его относились вообще отрицательно к методам Нечаева, осужденного в самом начале 70-х г., и более всего боялись генеральства вождей кружков. Поэтому создать какую-нибудь крепкую организацию было невозможно. Правда, революционные кружки пробовали организовать орган, направляющий движение, в лице собрания представителей своих и в виде устройства кассы. Средства для нее давали чуть ли не главным образом, фиктивные браки, благодаря которым женщины, получая приданное от своих родителей, передавали деньги в кружки. Перед отправкою в народ в 1874 г. решено было оставить представителей в Петербурге и по возвращении из народа, к зиме, созвать общее собрание для обсуждения достигнутых результатов и дальнейшего направления движения. Но это не удалось, потому что почти все пропагандисты в 36-ти губерниях были переарестованы, и собрания могли бы состояться только в тюрьмах.

Свою революционную работу я проводил, по возможности, в полном соответствии с духом времени и теми задачами, которые тогда выдвигались на первый план. Между прочим, тогда проводился лозунг — довольно вести пропаганду в среде интеллигенции, надо итти к рабочим и крестьянам. Я, как и большинство тогдашних революционеров, понимал этот лозунг в смысле главной задачи и продолжал пропагандистскую работу и среди интеллигенции там, где это было нужно для выполнения нашей главной задачи — движения масс интеллигенции в народ. Мне приходилось заниматься с отдельными рабочими и ходить к крестьянам в деревню.

Я организовал в Петербурге свой кружок из десятка лиц, и попутно, при поездке в Харьков, другой кружок из харьковской молодежи, главным образом из семинаристов. История этого последнего кружка интересна тем, что дает яркое понятие о настроении тогдашней молодежи. В Харькове я разыскал студента, занимавшегося прежде распространением лучших книг, изданных в 60-х г., но уже несколько лет совершенно отставшего от всяких дел. Я дал прочитать ему «Государственность и анархия», и на другой день он считал себя уже убежденным революционером. Я поручил ему собрать более вы-

дающихся семинаристов, с которыми у него были связи. Он привел более десятка их и при мне, с небольшой поддержкой с моей стороны, стал проповедывать им революционные идеи. Одного такого собрания было достаточно, чтобы явившаяся к нам молодежь организовалась в революционный кружок и согласилась вносить в него небольшой членский взнос. Потом весь кружок был арестован.

Когда мы в 1874 г. двинулись в народ, я остановился на несколько дней в Саратове, где собирались члены моего кружка перед отправкой по деревням. Полиция уже начала зорко следить за революционным движением, и в мое отсутствие из квартиры, в которой остановились мои сочлены, там произведен был обыск, и арестованы все жильцы, так что на ночь я должен был устроиться у одного знакомого и сочувствовавшего нам учителя. Полиция и туда явилась, но я успел удрать через окно. Являлась необходимость скорее бежать из Саратова. Я направился в г. Николаевск Самарской губ., где, как мне было известно, предполагали заняться пропагандою в народе упомянутый выше Речицкий и Судзиловский, впоследствии гавайский сенатор. Они были рады моему приезду уже потому, что, проживая в глухом уездном городишке, они утратили связь с другими революционерами. Уже совместно со мною они стали обсуждать план будущей своей работы в народе, но и они уже были на учете полиции. Я успел сходить на несколько дней в ближайшие деревни, верст на 50, и когда вернулся к ним, узнал, что на днях мы должны быть арестованы. Вследствие этого я и Судзиловский отправились пешком до ближайшей почтовой станции на другом берегу Волги. При переправе на пароме нас нагнала полиция, ехавшая, чтобы нас арестовать, но нам удалось так хорошо изменить свой наружный вид, что полиция нас не узнала. Потом мы узнали, что Речицкий накануне нашей встречи с полицией был арестован и покончил самоубийством. После этих происшествий я отправился в Самару, где остановился на постоялом дворе, хозяин которого, по соглашению с Войнаральским, давал приют революционерам. В первую же ночь явилась полиция, нашла меня спящим на сеновале и арестовала. Она впрочем искала не меня, а кого-то другого. Вскоре после ареста я был отправлен в Самарскую тюрьму, а затем в Москву.

Нам долго приходилось ждать суда, до которого большинство подсудимых просидело около четырех лет в тюрьмах. Сначала прокурором, поставленным во главе дознания, Жихаревым, решено было производить самое дознание на месте совершения преступления, и меня начали возить по волжским городам, в которых я вел пропаганду, начиная с Ярославля. Я был доволен этим обстоятельством, так как приходилось пу-

тешествовать, хотя и под конвоем жандармов, и в местных тюрьмах разговаривать посредством перестукивания с товарищами. Но мне удалось только побывать в городах до Нижнего Новгорода включительно, так как потом начальство сознало безрассудность своего первого решения. Нас тогда пробовали сосредоточить в Москве, в тюрьме и при частях, но скоро перевели в Петербург и посадили многих, в том числе и меня, в Петропавловскую крепость. Там, несмотря на запрет со стороны начальства, мы перестукивались и переписывались в книгах, отмечая точками соответствующие буквы. Между прочим, я однажды прочел в книге запись Нечаева о том, что, он, чуть ли не с научными целями, пробовал в Алексеевском равелине, где он был единственым арестантом, голодать. В крепости нам давали с виду хорошую пищу, стоившую казне рубль в день на человека, но на меня эта пища оказывала вредное влияние. Запах грязной оловянной посуды был для меня до того отвратителен, что я ел пищу как можно скорее и чуть ли не затыкал нос. В результате у меня появилось какое-то болезненное состояние желудка, которое вскоре потом исчезло, когда меня перевели перед судом в Дом предварительного заключения на пищу общего арестантского характера. Там сидело большинство подсудимых, а ко времени судебного следствия и нас из крепости под большим конвоем перевели туда. Еще в крепости мы начали обсуждать наши будущие речи на суде. Еще при отправлении в народ на пропаганду некоторые из товарищей считали, что они идут не столько на пропаганду, сколько для ознакомления своего с народом, но тогда, при большом под'еме энтузиазма, это течение не было обширным. При выслушивании же проектов речей на суде во время нашего содержания в крепости, меня поразил умеренный характер большинства проектов. Поскольку можно было, я вел борьбу путем перестукивания с этим течением. Я находил, что главная наша задача была произвести государственный и общественный переворот, а пока он совершится, образовать крепкую партию социально-революционного характера. Но в крепости трудно было путем перестукивания достигнуть какого бы то ни было соглашения. Независимо от указанной главной мысли товарищей, думавших произносить речи на суде, между ними не могло даже установиться согласия в частностях, так что я начинал прямо бояться речей участников процесса, если они будут произнесены на суде. В результате вышло бы, что гора родила мышь. Возможно, что я преувеличивал казавшийся разброд.

В Доме предварительного заключения, я с Войнаральским задумали побег, который с первого взгляда был совершенно невозможен в виду того, что на улицу нужно было выходить через несколько постоянно запираемых на ключ дверей, но мы

скоро усмотрели слабое место. Наши окна выходили внутрь двора, а наружные окна здания без решеток выходили на улицу, так что тюрьма могла показаться прохожим обыкновенным домом в шесть этажей. Внутри первые четыре этажа имели со стороны улицы один сплошной коридор снизу до верху, а вдоль камер шли небольшие галлереи, по которым нас приводили и выводили из камер; но эти галлереи не доходили до наружной стены на улицу и были снабжены перилами, чтобы нельзя было упасть вниз. На третьем этаже в углу описанного коридора сделана была площадка для того, чтобы можно было подойти к наружному окну, выходящему на улицу. Окно было всегда заперто на ключ, хранившийся у старшего надзирателя. Этим окном мы с Войнаральским и думали воспользоваться для побега с помощью подкупленного надзирателя, но на первый раз мы хотели бежать через окно нижнего этажа, так как, кроме нас двоих, сначала предполагалось выпустить еще 5 товарищей, в том числе Кропоткина и Тихомирова. У меня и Войнаральского форточки в дверях были все время открыты, так как доктор признал, что нам мало воздуха. У нас был ключ, украденный надзирателем, нашим сообщником; этим ключем можно было изнутри камер через форточку отворить дверь. Достаточно было одному Войнаральскому выйти из камеры и он мог своим ключем открыть камеры предполагаемых беглецов. На наше несчастье, усыпленный ранее старший надзиратель проснулся и увидел семь арестантов, готовившихся уйти через одно из предварительно открытых окон в нижнем этаже. Моментально, пока он не поднял тревогу, мы предложили ему получить 500 рублей, уплату гарантировал его товарищ, младший надзиратель, и он запер нас всех по камерам и о побеге не донес. По смерти моего отца, из опасения секвестра было продано его имение Сватковичи. Полученные деньги были употреблены на расходы по побегу и другие революционные дела.

Второй побег мы задумали совершить через вышеупомянутое окно в третьей галлерее и уже только вдвоем — я и Войнаральский. Дело было в начале апреля 1876 г. Мы хотели уйти ранее, в марте, когда ночи в Петербурге были еще темные, но никак не могли дождаться, пока надзиратель, сидящий на другой площадке третьей же галлереи, заснет. Наконец, мы дождались этого, когда уже ночи начали светлеть; мы с Войнаральским отперли свои двери — одну настоящим, украденным ключем, а другую, кажется, поддельным и на сшитых полосах простынь спустились прямо на улицу, где не было никакого конвоя. Но на нашу беду проезжал во время нашего спускания из окна инженер Чечулин, последний поднял тревогу, и нас городовые сняли с извозчика, собиравшегося уже везти нас. С воли каждый день под'езжала лошадь, но не до-

ждавшись нас, пока было темно, уехала домой. Чечулина с нами повели в часть, и он дорогой стал просить у нас прощения, говоря, что он считал нас уголовными, если же бы знал, что мы политические, то, напротив, помог бы нам. Веря ему на половину, я хотел убедиться что он действительно готов помочь нам и дал ему настоящий ключ от камер, чтобы он выбросил в уборную. Проследив за ним, я убедился, что он исполнил это; тогда я ему дал адрес людей, помогавших нам с воли, и просил предупредить товарищей, что мы пойманы и пока не будем делать попыток к побегу. Он добросовестно выполнил поручение. Побег наш дал мне идею для шалости с прокурором, вызвавшим после нашей поимки меня на допрос. На вопрос, как и почему я бежал, я ответил: «по вашему совету» и напомнил ему, как однажды, тоже на допросе, он говорил о моем положении, как будущего каторжника, и заметил, что на моем месте он все бы думал о побеге. После моих слов он, видимо, перепугался, боясь, что я запишу их в протокол, но я успокоил его, что это шутка.

Вскоре после попытки к побегу меня и Войнаральского увели в крепость, а ко времени суда опять привели в Дом Предварительного Заключения, откуда мы ходили в суд по прямому коридору не выходя за стены тюрьмы. Суд начался, кажется, в ноябре 1877 г. Еще до суда мы устроили ряд общих собраний всей мужской половины тюрьмы. Несмотря на холод, мы выставили окна и во время собраний все до одного стояли у открытых окон. Чтобы устроить какой-нибудь порядок на собраниях, избран был председатель. Честь это досталась мне, если не по заслугам, то по удобству моего положения. Я сидел в небольшом отделении тюрьмы, и потому мой голос слышен был в остальных двух больших стенах тюрьмы. Перед судом продолжалось обсуждение нашего поведения в залах суда, но особенно энергично мы принялись за эти обсуждения, когда началось судебное следствие, и Сенат, судивший нас, вынес постановление, что следствие будет происходить по группам, общим числом до 20. Я попал в несколько групп, но были и такие подсудимые, которые принимали участие только в одной группе. Так как всех нас судили, якобы за то, что все мы были участниками одного тайного общества, организованного четырьмя лицами [1], то указанное распоряжение суда делало для нас невозможным участвовать во всех перипетиях судебного следствия. Защитник Спасович первый указал суду на этот юридический абсурд и внес свой протест, но суд остался при своем мнении. Когда мы пришли в камеры, то в тот же день на-

---

[1] Войнаральский, Мышкин, Рогачев и я.

чалось обсуждение этого вопроса в общем собрании. Решено было заявить публично, что мы не признаем такого суда и отказываемся давать какие-либо показания и вообще участвовать в суде. Такую формулу должен был произнести каждый участник протеста в ответ на вопрос, признает ли он себя виновным. Желающим предоставлено было право участвовать в суде, но таких оказалось не много. Между прочим, даже протестанты одобрили желание одного киевлянина участвовать в суде, с целью показать нелепость утверждения обвинительного акта о безнравственном поведении членов киевской коммуны, которые, по словам обвинителя, спали в повалку, при чем чередовались мужчины и женщины. Лично я был очень доволен полученным результатом, так как масса защитительных речей внесла бы большую путаницу в выяснение общего характера дела. Я и некоторые мои друзья только задумывались о том, кто и как должен выяснить публично на суде характер нашего дела при создавшемся положении. Но исход, к счастью, очень скоро нашелся. Подсудимый Мышкин, решив в ответ на вопрос о виновности сказать целую речь, обратился ко мне и некоторым другим товарищам с просьбою сообщить ему конспект его будущей речи. Я написал ему свое мнение о том, что наша деятельность создала в России социально-революционную партию, которая, что бы ни делало правительство, поведет с ним героическую борьбу за народ. Мышкин согласился с моей мыслью и на вопрос о виновности произнес сильную речь, произведшую громадное впечатление в тогдашнем обществе. Несмотря на частые перерывы со стороны председателя, он сумел высказать все, что было нужно. За эту речь он был признан судом одним из четырех руководителей нашего процесса. После произнесения речи мы заставили Мышкина повторить ее на нашем собрании и рукоплесканиям, и восторгам не было конца. После каждого заседания суда мы собирались у своих окон и выслушивали все, что происходило на суде. Тех, кто заявил протест против суда и отказ давать показания, уже больше не вызывали в суд, и некоторых, в том числе и меня, перевели в крепость. Суд окончился в январе 1878 г.

После тех протестов, которые вначале процесса пред'являли подсудимые и защитники, все ожидали сурового приговора, но ко времени его вынесения несколько усилилось либеральное течение по случаю своего рода патриотической войны с Турцией, тогда только что окончившейся. Течению этому, повидимому, не был чужд и сенатский суд, который вынес неожиданно мягкий приговор. По обвинительному акту можно было ожидать, что половина подсудимых будет лишена всех прав состояния, а оказалось, что половина судившихся совершенно оправдана, и к каторге присуждено 13 человек, 12 муж-

чин, в том числе и я, и одна женщина — Брешко-Брешковская. Кроме того, суд ходатайствовал перед царем о замене каторги поселением в виду долговременного предварительного ареста. У меня считался защитником Евгений Утин; он в виду моего протеста с отказом от суда не выступил в защиту меня, но приходил ко мне на свидания в камеру на правах защитника без посторонних соглядатаев. Однажды он пришел ко мне и сразу бросился на шею. Будучи в большом волнении, он сообщил мне радостную весть об оправдании Веры Засулич, стрелявшей в Трепова. Он относился ко мне очень хорошо, как по званию либерала, так, может быть, еще и потому, что я составил ему своего рода протекцию для выступления на суде после наших протестов. Я рекомендовал его в защитники одного из киевлян, и он блестяще опроверг инсинуацию прокурора на счет киевской коммуны.

Ходатайство суда перед царем об облегчении приговора касалось многих подсудимых, и до разрешения вопроса царем мы оставались в неопределенном положении и продолжали сидеть в крепости и Доме Предварительного Заключения. Царь вероятно, колебался, но потом, после выстрела Веры Засулич, отказал в замене каторги поселением и только велел зачислить нам срок каторги и время, проведенное в предварительном заключении. Только один Мышкин, которого Сенат исключил из своего ходатайства за выстрел в казака в момент ареста, был сейчас же отправлен в Новобелгородскую Централку, а мы продолжали сидеть в крепости, где добились разных льгот, главное — совместных прогулок и свиданий с родными и знакомыми. После решения царя по поводу ходатайства суда о смягчении наказаний, нас скоро стали отправлять — одних в Сибирскую каторжную тюрьму на Кару, а четырех человек— меня, Войнаральского, Рогачева и Муравского — в Ново-Борисоглебскую Центральную каторжную тюрьму, находившуюся около села Андреевки Змиевского уезда. Во время судебного процесса ожили даже такие участники его, которые под влиянием длительного тюремного заключения начинали падать духом. Процесс и особенно речь Мышкина были горячо восприняты революционною и даже радикальною молодежью. На одной из студенческих сходок принято было решение вступить в социально-революционную партию, о которой говорил Мышкин. Этот термин был употреблен в предвидении, что партия может менять свои названия и, частью, даже задачи. Конечно, мы не верили, чтобы студенчество могло поголовно вступить в партию, но во всяком случае, такая решимость доказывала, что революционное движение идет вверх. Мы, сидевшие в крепости, во время процесса имевшие частые сношения с волей, конечно, тоже оживились и ехали в каторжные тюрьмы в при-

поднятом настроении. По дороге из Харькова в централку решено было сделать попытку освободить одного из нас, кого повезут в день покушения. Случилось так, что ехал самый слабый физически — Войнаральский, которого во время покушения прижали жандармы, и он не мог выскочить, чтобы броситься к повозке, которая была у покушавшихся. Дело кончилось тем, что была ранена одна из лошадей везших Войнаральского. Этот случай не мог уничтожить нашего приподнятого настроения. Вскоре к нам привезли Сажина. Нас посадили по одиночкам, так что первое время сношения были затруднительны. Отношение к нам начальства было более или менее корректное и совсем не походило на то, что пришлось перетерпеть товарищам в другой централке, в которой находился и Мышкин. В общем тюрьма, в которой нам предстояло прожить многие годы, производила впечатление могилы. Стояло единственное здание в поле, окруженное высокою каменною стеною. На прогулках каждый из нас видел только уголовных, с которыми мы не могли разговаривать. Всякие, возможные даже в тюрьмах, развлечения отсутствовали, книг почти никаких не было, кроме, одного или двух духовных журналов, евангелия и библии.

Сидя в разных тюрьмах, я наблюдал случаи, когда заключенный пытался проверить, не было ли ошибок в прежней деятельности, не только лично его, но и партии. Иногда, — конечно, редко — дело кончалось созиданием для будущего какой-нибудь новой программы, не находившей большей частью ни одного последователя. Я был всегда противником таких новых пророков. У нас в централке начался подобный процесс с самым старшим из нас — Муравским, или, как мы называли его, отцом Митрофаном. Он почувствовал потребность веры и создал целую религию с богом во главе. Он нашел некоторый отклик у двоих товарищей, Войнаральского и Рогачева, особенно у последнего, мы же с Сажиным были противниками. Наш тюремный священник благоговел перед Муравским, и, когда он умер, на похоронах сказал перед уголовными арестантами, что умерший — святой, которому нужно помолиться, чтобы он и нам приуготовил царствие небесное. Жизнь наша в централках уже не раз описывалась, и потому я не буду о ней распространяться.

Осенью 1880 г. начальство признало, что централки оказывают вредное влияние на наше здоровье, и потому решили перевести нас в Сибирь на Кару, но предварительно препроводили нас в Мценскую пересыльную тюрьму, где мы отпраздновали 1-е марта 1881 г. и с открытием навигации поехали в Сибирь. Путешествовали мы долго, потому что по этапным правилам мы должны были проходить 25 верст в день и через двое суток

в третьи дневать на этапе. В Иркутске мы остались до санной дороги и приехали на Кару зимой. В Иркутске на моих руках умер мой товарищ (судился по делу Долгушина) и друг Лев Дмоховский. На похоронах его Мышкин сказал речь, за которую был осужден на 15 лет сверх 10, назначенных первым приговором по большому процессу. Здесь посещение церкви стоило ему 15 лет тюрьмы, а ранее в Централке он в церкви ударил смотрителя тюрьмы по лицу и вместо наказания получил выгоду: его признали невменяемым и перевели в сильно нервном состоянии к нам, где он довольно быстро оправился.

Карийская тюрьма до Шлиссельбурга играла значительную роль. В известном смысле это было высшее учреждение, к голосу которого, если он доходил до других тюрем и городов, прислушивались революционеры. До нашего прихода она была более всего населена одесситами, которых без всякой церемонии предавал суду Панютин под прикрытием ген. Тотлебена, пользовавшегося недурной репутацией за свою военную службу. Мы же явились представителями процессов Долгушина, 50-ти и большого 193-х. Нас поразил первый вид заключенных, когда мы вошли в тюрьму. Можно было подумать, что они потеряли веру в свое дело и поэтому страдают. Но оказалось, что ничего подобного не было. Они разделились на две группы: одна стремилась к побегу через подкопы, а другая доживала свои сроки. Но это вызывало обостренные отношения. На Каре до нашего приезда был повешен тремя лицами из готовившихся к побегу, нечаевец Успенский. Его заподозрили в освещении перед начальством, во время свидания с женою, подробностей побега и, главным образом, рытья подкопа из двух камер. Сами карийцы заметили большую разницу между нами, только что пришедшими в тюрьму, от'евшимися и отдохнувшими в «Мценской гостинице», как назвал Мценскую тюрьму Виташевский, и старыми карийцами. Один из них, показывая на нас пальцем, громко сказал: вот каковы «заживо погребенные»[1]. Возглас этот вызвал общий смех — в первом ряду нашей партии, случайно, оказались самые полнощекие. Изможденность части карийцев не соответствовала той относительно свободной жизни, которую они вели. Они видели стражу только во время утренней и вечерней поверки и внутри тюрьмы были свободны. Все работы карийцы исполняли сами, ходили в мастерскую, находившуюся за тюремной оградой, но уже под конвоем, и даже выработали особый штат поваров, варивших пищу и пекших пироги по праздникам. Но трудно было умиротворить тюрьму, разбившуюся резко на два лагеря—одни сто-

[1] Карийцы уже читали известную брошюру Долгушина под этим заглавием, в которой описывались страдания заключенных в централке.

ронники[1] массового побега, включавшие в свою среду и убийц Успенского, другие — население трех камер, т.-е. большинство — более или менее обобщали побег с убийством и чуждались сторонников побега — жителей двух камер. Дело доходило до отдельных случаев неговорения между сторонниками обоих групп. Мы, пришедшие из централок, познакомившись с причинами враждебности между собою двух половин тюрьмы, задались целью умиротворить тюрьму, тем более, что в обоих группах мы встречали вполне достойных и даже выдающихся людей. Мы созвали ряд сходок, которые, особенно первое время, посещались довольно охотно. На сходках мы предлагали, во-первых, расследовать дело об убийстве Успенского, и, во-вторых, до полного об'единения обоих групп избрать особое судилище, которое разбирало бы все возникающие инциденты. В общем наша программа была принята, и в так называемое «судилище» избраны трое — я, Зунделевич и еще один, не помню кто. Мы разобрали дело Успенского и решили, что он не разоблачал готовящегося побега во время свидания с женою, но убийцы были введены в заблуждение смотрителем тюрьмы, который подозревал что-то неладное, болтал, что он на свиданиях узнал многое и намекал на готовящийся побег. После нашего вмешательства в жизнь карийцев недоразумения в значительной степени улеглись, но оставалось что-то в роде «классовой» якобы вражды между сторонниками и противниками побега. Окончательно сгладила все противоречия и остатки вражды политика начальства после побега Мышкина и Хрущева через мастерскую, минуя подкопы. Начальство уничтожило нашу республику, но вместе с тем сплотило нас. Так, мы довольно солидарно провели 12-дневную голодовку, с целью протеста против предполагаемого сечения товарищей и для получения разных льгот. Хотя голодовка на 13-й день и сорвалась, но начальство не решилось прибегнуть к розгам и начало давать нам понемножку и в маленьких размерах льготы. Так, разрешено было ходить в чужие камеры для занятий по литературе и наукам. После более или менее длительного периода угнетений особенно ярко проявилось желание заняться абстрактными науками. Меня просили прочесть высшую математику, и получалась иногда такая странность, что у меня было больше слушателей, чем на уроках по самообразованию. По делу о побеге долго тянулось следствие, которое не давало никаких результатов, кроме задержки на несколько месяцев лиц, окончивших свои сроки каторги в тюрьме. Но, наконец, нас стали выпускать, и я был направлен в Якутск, а оттуда

[1] Сторонники побега были расположены в двух камерах и у них тоже не было полного согласия во всем и тем более в оправдании убийства.

в Верхоянск, лежащий у самого полярного круга и являющийся полюсом холода на всем земном шаре. Там я застал только двух бывших ссыльных — Арцыбушева и его сожительницу, но затем скоро привезли Войнаральского и многих других. У нас образовалась колония человек в 20. В Верхоянске я женился 39-ти лет от роду на приезжей акушерке Ольге Васильевой. Я скоро по приезде занялся изучением якутского языка и жизни якутов. Еще находясь в Верхоянске я написал брошюрку «Верхоянские якуты», которая могла быть напечатана только с разрешения Иркутского генерал-губернатора. В Верхоянске я приобрел маленький домик, расширил его, и мне понадобилось устроить печку. Ранее я никогда не видел внутреннего устройства печей, а местные не стоило осматривать, так как во время хорошей топки огонь выходил из труб. Пришлось «изобретать», потому что печника в то время в Верхоянске не было. Я и изобрел, как потом оказалось, самую обыкновенную голландку. В Верхоянске создать славу легче, чем где бы то ни было, и я сейчас же приобрел славу печника. Мне стали заказывать печи местные обыватели и даже полиция для больницы. Печи мои скоро были признаны всеми обывателями, несмотря на некоторые казусы в зависимости от климата. Кроме печного ремесла, я занимался столярным и плотничным. В плотничном мне помогал тов. Соломонов, живший со мною в моем доме. Когда мне было разрешено выехать из Верхоянска, то мы с Соломоновым выстроили новый дом, где бы он мог после меня жить, а старый продали доктору и заплатили, таким образом, мои долги.

Из Верхоянска мне разрешено было, на правах «крестьянина из ссыльных», приехать в Балаганск Иркутской губернии, где мы с женой пробыли около года. Там у меня родилась дочь, которой первые месяцы пришлось расти в дороге. Я полулегально перебрался в Иркутск, жена же с ребенком осталась в Балаганске. Затем вскоре мне разрешено было принять участие в сибирской экспедиции по исследованию влияния золотопромышленности на быт якутов, и я с семьей поехал на Лену. По приезде в 1893 г. на Сибиряковские прииски, в то время самые крупные, главноуправляющий приисками Кокоулин устроил меня с семьею в небольшом домике и отпускал все необходимое для содержания. У меня была бумага от генерал-губернатора об оказании мне властями всевозможного содействия, а рядом со мною направлялась по почте другая, предписывающая иметь за мною строгое наблюдение. Второй бумаги Кокоулин, конечно, не получал. До путешествия на прииски я состоял в Иркутске сотрудником газеты «Восточное Обозрение» и потому и с приисков писал туда корреспонденции.

Пробыв некоторое время на приисках и собрав необходимые сведения, я направился в Олекму, где провел всю зиму. Там я, особенно первое время, ездил по якутам и нередко собирал там сходы для проверки переписи. Останавливаться приходилось иногда у богатых якутов. После ночевки у одного из таких якутов он предложил мне при выезде одну или две собольих шкурки «на память». Я ему мягко сказал, что предпочитаю по характеру своей работы получить на память две беличьих шкурки (на месте они стоили 20 коп.). Он растерялся, но вынес мне просимое. Этот случай показывает, как легко можно было обирать якутов, имея какое-нибудь официальное звание. В Верхоянске, например, власти и даже всякий русский, могли легко обирать якутов посредством так наз. «гощения». Перед якутом русский ставит бутылку водки и говорит: «гощу», при чем, кроме самых высших властей в уезде, должен прибавить сколько-нибудь денег — от 3-х до 10-ти руб. После распития водки якут дает тут же, или чаще обещает привести коня, корову или каких-нибудь продуктов. Я однажды тоже выполнил целиком обряд «гощения». Дело было верстах в 150-ти от Верхоянска на почтовой станции, где я встретил двух товарищей, едущих в Колымск. Они жаловались мне, что якут им не хочет продать мяса. Я взял у них бутылку водки и поставил перед якутом, последний отличался скупостью и был смущен вследствие необходимости уплатить за «гощение». Я тогда пояснил ему, что я «гощу» не на коня или корову, а на то, чтобы он продал за деньги мяса проезжающим. У якута сразу появилась довольная улыбка, и он тотчас принес мяса.

В Олекминске я более всего изучал отношения якутов к золотопромышленности, но затрагивал и другие стороны их жизни. В конце концов я представил в Иркутское Географическое Общество целый том, написанный об якутах, но он не был напечатан по недостатку средств, и сохранился ли до сих пор, не знаю. Одновременно в Олекминске меня заинтересовал вопрос о земледелии на такой высокой широте, на которой ни на Енисее, ни тем более на Оби ничего не растет. Статистика дала мне главное основание для решения этого вопроса. Оказалось, что в Сибири, чем восточнее главная из рек, впадающих в Ледовитый океан, тем вегетационный период в северных широтах продолжительнее. Я сделал одно интересное наблюдение в осенний вечер, когда температура быстро падала и уже приблизилась к 0°. Вода в это время сохранила еще тепло не ниже 10° по Реомюру, и вот над горой с западной стороны появилось крошечное облачко, очевидно, от паров, подымающихся с реки Лены, которое стало быстро разрастаться и покрыло всю долину Лены между горами с каждой ее стороны.

В то же время температура стала быстро подниматься, и явилась полная гарантия, что не будет мороза. Более подробное исследование показало мне, что долина реки, закрытая с запада и востока горами, а с севера крутым поворотом реки на север около Якутска, представляла собою как бы большой ящик, прикрытый сверху одеялом из паров, подымающихся с реки. Тепло не могло быстро расходоваться из такого ящика, и там продолжали расти травы и хлеб, когда на соседних горах были уже порядочные морозы. Об'яснение мое подтвердилось осмотром места у одного из прорывов в горах. Там якуты начали было пахать землю под посев хлеба, но вследствие постоянных заморозков запустили ее. Об этих моих исследованиях напечатано было в каком-то лесного характера журнале— названия не помню — издававшемся в Петербурге. В Якутске я в это время встретил просвещенного администратора — губернатора, порядочного человека, любимого и местными ссыльными. Лично против него я ничего не имею сказать, но он заставил меня оглянуться на других «просвещенных администраторов», которые, по моему мнению, ломая жизнь по своим начальственным соображениям, причиняли даже более вреда, чем добродушные взяточники.

Из Олекминска я вернулся с семьей в Иркутск, где продолжал обрабатывать свой труд о якутах. Дело в Географическом Обществе по вопросу о Сибиряковской экспедиции подвигалось туго по недостатку средств и, между прочим, я в свободное время занялся этнографией сибирских инородцев. Я успел даже прочесть в Географическом Обществе один доклад, где доказывал, что тюркские народности (турецко-татарского происхождения) достигают в культуре больших успехов, чем монгольские народы, и дольше последних сохраняют свою живучесть. Монгольские племена чаще сливаются с тюркскими и усваивают их язык, чем тюркские с монгольскими.

В 1898 г. начальство отпустило меня в Европейскую Россию, но воспретило мне проживать в столичных и университетских городах. Я избрал г. Минск, и на первое время поселился в Блони Игуменского уезда у Бонч-Осмоловских, куда пригласила меня старая моя знакомая и сопроцессница, Варвара Ивановна Ваховская, по мужу Бонч-Осмоловская. Я несколько месяцев прожил у нее, заканчивая свой труд по сибирской экспедиции, а потом стал искать службы. Брат моей давнишней приятельницы Брешко-Брешковской — так назыв. «бабушки революции», представил меня управляющему акцизными сборами, который принял меня очень любезно и, по-видимому, главным образом из-за моей революционной деятельности. Он предложил мне должность главного счетовода при открывшейся недавно водочной монополии. Должность эта со-

ответствовала бухгалтерской, но не считалась государственной службой. Оклад первоначально был, кажется, 2.000 руб. в год. До тех пор я не знал двойной бухгалтерии и поэтому месяц или два усердно занимался ею, так что мог быть руководителем всех уездных отделений монополии и даже составил особую инструкцию по счетоводству. Первым делом я повел борьбу против чрезмерной длительности счетоводных занятий, растянувшихся почти на 12 часов каждый день. Я ввел у себя 6-часовой рабочий день, согласившись с подчиненными мне счетоводами, что они в случае неуспеха будут, когда нужно, приходить заниматься и вечером, но этого почти не понадобилось. Производительность нашего труда по меньшей мере удвоилась.

В Минске я встретил 1905 год. Революционное движение здесь было наиболее сильно в железнодорожном мире. Мы часто собирались и обсуждали положение дел после манифеста 17-го октября. В день манифестации около Виленского вокзала я, запоздав несколько на службе, направился было туда, но на главной улице встретил массу бежавших и до того перепуганных людей, что мне едва удалось узнать, что причиной бегства был так. наз. курловский расстрел.

В те времена, т.-е. в девятисотых годах, в Минске было два публичных места, которые посещала передовая молодежь. Одно — это частная квартира полковника Черепанова, который сам сочувствовал революционному течению, другое — Общество изящных искусств, которое скоро подпало под подозрение жандармов. Они, впрочем, интересовались и квартирой Черепанова.

В 1910 г. я с семьей побывал на всемирной выставке в Париже, где жила сестра моя, эмигрантка, Мария Ковалик. Там я встречался с эмигрантами, бывал на их собраниях. Приехав в Минск, я задумал устроиться в деревне; после сибирского простора мне показался город душным, и я купил, конечно, в долг, небольшой хутор в 5-ти верстах от Минска и ездил ежедневно на службу, при чем возил с собою и дочь мою, учившуюся в гимназии. Должно быть в 1910 г. упразднена была должность главного счетовода и взамен ее установлена должность бухгалтера с правами коронной службы. Так как я этих прав не мог иметь, то мне предстояло увольнение, но начальство сумело найти выход. Из Петербурга ему раз'яснили, что оно по закону имеет исключительное право принимать на государственную службу лиц, не имеющих вообще доступа к ней, т.-е. очевидно иностранцев и лиц податного состояния, и оно оставило меня бухгалтером без права получать чины и пенсию. Таким образом оказалось, что лишенный всех прав состояния имеет чуть ли не преимущества перед лицами податного состояния. Через несколько лет, кажется во время войны, мне

взамен бухгалтерской дали должность помощника надзирателя акцизных сборов, которая мне не нравилась, но к моему удовольствию довольно скоро разрешили мне прикомандироваться к Земскому Союзу, имевшему тогда большое значение, с сохранением прав акцизной службы. В Земский Союз шли тогда либералы, радикалы и даже революционеры. Таким образом, я там встретился с Михайловым-Фрунзе и мы вместе заседали в разных комиссиях. Фрунзе до конца своего пребывания в Минске не открывал своей настоящей фамилии и уже во время или вскоре после Февральской революции был назначен начальником милиции. Одно время мне пришлось конкурировать с ним на выборах председателя земельного губернского комитета, имевшего своим назначением подготовку к разделу помещичьих земель между крестьянами. Выборщики высказались за меня, но это нисколько не испортило моих отношений с Фрунзе; последний сыграл довольно крупную роль в образовании Крестьянского Союза и был избран его председателем. Но он вскоре уехал в Иваново-Вознесенск.

После революции, свергшей самодержавие, Минск нуждался в работниках по разным отраслям деятельности, поэтому я переменил до десятка должностей. При первом появлении советской власти я был и оставался при ней председателем земельного комитета, при немцах был членом губернской земской управы, мировым судьею, городским головою. Из акцизной службы, я, конечно, ушел с самого начала революции. Я еще не упомянул, что при первом собрании новой революционной городской думы я был избран заместителем председателя думы. Все перечисленные должности я занимал постепенно только с малым совместительством, но кроме них приходилось почти каждый день участвовать в собраниях. Их бывало так много, что иногда приходилось бежать из одного собрания раньше его окончания в другое. Поэтому, кажется, никогда так не опаздывали на собрания, как в то время.

Первая советская власть в Минской губ. существовала недолго и не успела проявить себя в полной мере. При ней я продолжал оставаться председателем губернского земельного комитета. Так как появились не столько противники, сколько желавшие по своему распоряжаться работой земельного комитета, то я счел нужным отправить тогда телеграмму народному комиссару земледелия, левому эсеру Калегаеву, в которой описывал положение дел, в надежде получить от него одобрение работе комитета. Калегаев не замедлил ответить в желательном для меня смысле, так что дело у нас продолжалось в прежнем порядке до занятия Белоруссии немцами, согласно Брестскому миру. Оккупация немцев была сравнительно мягкой. Они даже не закрывали нашего земельного комитета,

но для нас скоро стала невозможной дальнейшая работа, так как помещики, земли которых мы начинали брать в свое распоряжение, уже не слушались нас, а немцы как будто не вмешивались но и не признавали новых законов и правительственных распоряжений по земельному вопросу. Земское управление продолжало существовать во все время немецкого владычества, и при нем же собралась новая революционная городская дума, в которой большинство принадлежало эсерам и эсдекам. В конце своего пребывания в крае немцы наложили на земли порядочный налог хлебом, но не успели его собрать, так как в Германии произошла революция, и они собирались уходить на родину. Перед уходом, месяца за два, за три до него, немцы решили назначить по указаниям наших общественных учреждений правительство из местных людей, числом, кажется, 6 или более человек. Меня тоже внесли в список членов правительства, и я об этом получил соответствующую бумагу на немецком языке. Мы согласились бы фактически стать правительством, если бы нам была предоставлена власть за некоторое время до ухода немцев, но немцы отвергли наше предложение об этом и предоставляли нам власть в день своего ухода. За ними тотчас же должны были вступить в Белоруссию войска и власти, и поэтому мы отказались разыгрывать комедию на час.

При советской власти я занял должность заведующего пенсионным отделом социального обеспечения. Пришлось организовать работу, не имея почти никаких указаний из центра. Тем не менее нам удалось сравнительно в короткое время поставить на ноги новое учреждение. События сменялись тогда быстро. Белоруссия попала под власть Польши. Почти с первого дня владычества поляков я получил полный отдых от дел, так как все места, где мне пришлось служить, были закрыты. После войны с Польшей поляки ушли из Белоруссии, и опять восстановилась советская власть. Я снова вошел в комиссариат социального обеспечения, но вскоре перешел в Политехнический институт, где занял должность преподавателя высшей математики. В это время никаких руководств по математике в Минске нельзя было найти, поэтому я после каждой лекции выдавал студентам написанную мною самим эту лекцию. Некоторые из студентов списывали потом эту лекцию, так что могли иметь у себя целый курс. Впрочем, с раздачей лекций число слушателей, как будто, уменьшалось: время тогда было голодное, студенты искали работы, и потому, имея писанную лекцию, они могли переписать ее в свободное время, а пока искать себе оплачиваемого труда. Институт был закрыт, кажется, в 1922 г., и я уже с этого времени не занимаю никакого постоянного места. Еще ранее я был признан нетрудо-

способным по летам. Теперь же я, изредка, даю статьи в журнал «Каторга и Ссылка». Состою членом Минского отделения общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев и избран им старостою. Мне нет надобности добавлять, что я все время сознательной жизни сохранял революционные взгляды, выработанные мною в молодости.

Движение семидесятых годов по большому процессу (193-х)[1]

1 При чтении этой статьи необходимо иметь в виду, что она была написана и опубликована в 1906 году.

I.

Состояние общества, предшествующее движению.

Деятельность лиц, участвовавших в Большом процессе (193-х) не покрывает всего движения 1873—4 годов, но составляет настолько значительную его часть, что может дать полную его характеристику. Это тем более справедливо, что в процесс попали лица, случайно выхваченные из среды революционной молодежи семидесятых годов на всем обширном пространстве Европейской России.

В движении участвовало несколько лиц из Нечаевского процесса: Долгушин, судившийся в 70-х годах особо, Волховский и Голиков, одно лицо, имевшее некоторые, частного впрочем характера, отношения к каракозовцам — Войнаральский, одно лицо, осужденное за политическую деятельность в 60-х годах — Муравский и, наконец, одно, участвовавшее в организации «Земля и Воля» шестидесятых же годов — Речицкий. Несмотря на это, движение 70-х годов не имело в строгом смысле слова никаких корней в предыдущих движениях. Нет никакой возможности констатировать преемственную связь лиц, участвующих в следующих одно за другим движениях. Идейная связь, конечно, существовала между всеми общественными и революционными движениями, но и ее нельзя считать непосредственной. Идеи, выдвинутые революционерами данного периода, проникали в общество, усваивались в более или менее переработанном виде передовыми людьми и входили в той или другой степени в состав прогрессивного миросозерцания. Революционеры следующего периода воспитывались на книгах и статьях, написанных в духе этого прогрессивного миросозерцания и, в свою очередь, вырабатывали новые революционные идеи, которые также проникали в общество и т. д. В нашей литературе до сих пор не вполне оценено влияние революционных идей на миросозерцание передовой части общества, а, между тем, без всяких натяжек можно доказывать,

что творцами идей, входящих в круг понятий нашей интеллигенции, нередко бывали молодые люди, выступающие в разное время на революционный путь. Вопреки мнению получившего печальную известность Льва Тихомирова, можно с большим правом утверждать, что революционеры — это начало, а либералы — концы [1]. Здесь не место развивать эту мысль — она брошена мимоходом, все же предыдущее рассуждение направлено лишь к выяснению того, что для изучения истории движения 70-х годов нет надобности обращаться к предшествующим движениям, но тем более необходимо иметь ясное представление об общественных настроениях рассматриваемого периода. Поэтому в нижеследующих строках я попытаюсь обрисовать вкратце состояние общества и, главным образом, интеллигенции к началу семидесятых годов.

Шестидесятые годы составили эпоху в развитии русского общества. Освободительное движение прокатилось широкой волной и коснулось самых разнообразных слоев общества. К нему примкнули не только молодежь, но и из пожилых людей все те, кто не был в корень развращен крепостным правом и всем предыдущим режимом. В результате получилось довольно стройное выступление в первый раз на сцену истории, так называемого, общества, во главе которого стали разночинцы, придавшие ему демократический характер. Отличительным признаком тогдашнего интеллигента была непоколебимая вера в силу человеческого ума. Никому в то время не приходило в голову вопроса, что важнее в жизни, ум или чувство. Всем было ясно, что всякое решение ума должно осуществиться в жизни.

Прекрасным образцом этой веры в ум может служить рассуждение Добролюбова о самодурстве. Добролюбов рекомендовал идейному читателю смело вступать в борьбу с самодурами, доказывая им, с точки зрения своей идеи, всю неправоту и непоследовательность их. Неоконченный сегодня спор должен продолжаться завтра и в конце концов — верил Добролюбов, — самодур, не имеющий никакой идеи, должен уступить. Кто помнит шестидесятые годы, знает, что так было и в действительности — нередко заслуженный генерал пассовал перед мальчишкою-студентом и умерял проявления своего самодурства [2]. Вера в ум приводила к победе над невежеством всякого рода.

---

[1] См. „Начало и концы“ Льва Тихомирова.

[2] Известный критик „Русской Мысли“ Протопопов, начавший свою литературную карьеру прекрасной статьей, напечатанной в „Отечественных Записках,“ под заглавием „Литературная злоба дня“ совершенно ошибочно утверждал, что вышеизложенное рассуждение Добролюбова было плодом увлечения, наивность которого понятна современному (восьмидесятые годы) гимназисту.

Под влиянием этой веры лидеры шестидесятников смело прилагали выработанный умом критерий истины к политическим, общественным и экономическим отношениям и создавали планы широких реформ, которые должны были перестроить на новых началах всю жизнь страны. Патриархальные и совершенно однородные условия существования большей части русского народа и почти полное отсутствие промышленности не давали благоприятной почвы для теории вечной противоположности классовых интересов. Реформаторы должны были принять деятельное участие не в борьбе классов, а в борьбе культуры с невежеством и предрассудками. Создав освобождением крестьян условия видимого равенства всех граждан, шестидесятники должны были думать о дальнейшем переустройстве на началах разума всей жизни народа, как в политическом, так и в социальном отношениях. О дифференциации «политики» и «экономики» еще не могло быть и речи — она явилась позднее.

Активное выступление общества в шестидесятых годах продолжалось, однако, недолго. Полу-реформы, благоразумно данные правительством, сильно ослабили активность общества и способность его к инициативе. Для более умеренной части его казалось вероятным, что за этими реформами последуют другие, которые уничтожат все несовершенства жизни. Самодур, побежденный идеей, думала эта часть общества, умер окончательно. Однако, не только широкие обещания конституции, но и сравнительно не очень крупные частичные реформы в состоянии произвести раскол в обществе, не организованном в сильные политические партии. Полу-реформы 60-х годов, без всякого сомнения ослабили интенсивность движения. Ими наполовину, если не более, была убита «политика», ибо зачем же и жестокая политическая борьба, если и без нее правительство разумно уступает идейному меньшинству. Еще меньше было ожидать, что правительство, согласившееся на освобождение крестьян, станет резко на защиту господствующих классов общества и, после наделения крестьян землею, не допустит никаких дальнейших реформ экономического характера. «Экономика» поэтому продолжала привлекать умы и выражалась, главным образом, в народничестве того времени, пытавшемся прийти на помощь обездоленному крестьянству и надеявшемся убедить государственных людей (как прежде самодура) вести экономическую политику в интересах народа. Вместе с тем, по мере ослабления общественной инициативы, все более и более делалась заметнее тенденция известной части интеллигенции к нравственному самоусовершенствованию. Прогресс личности в умственном и нравственном отношении, казалось обеспечивает прочность движения. Знаменитый русский револю-

ционер Бакунин считал эту тенденцию весьма вредной для общественного дела вообще и революционного в особенности. Он, между прочим, отрицательно относился к легальной деятельности Чернышевского, считая его одним из главных провозвестников теории нравственного самоусовершенствования личности. В общем рассуждения Бакунина правильны, но Чернышевский будил столько же дух общественной инициативы, как и индивидуального прогресса.

Ничто так не вредит истинной политике, как национализм, развращающий более всего господствующую народность. Возбуждение национальной розни, как это мы видим на примере Австрии, ведет к полной бездеятельности даже конституционный механизм; тем более оно заглушает всякие политические требования в стране, не пользующейся благами политической свободы. Под влиянием возбужденного национального чувства, господствующая народность перестает ценить блага политической свободы и предпочитает им наделение своих соплеменников такими правами и льготами, которые дали бы им несомненный перевес в столкновениях хотя и с менее численными, но более культурными народностями. Мы еще недавно были свидетелями того, что многие русские люди (теперь они называются «истинно-русскими») рукоплескали Бобрикову за подавление финляндской свободы. Им казалось важнее уничтожить преимущества Финляндии, чем требовать равной доли свободы и для себя.

Гражданская война 1863 года в Польше имела развращающее влияние на русское общество такого же характера, как и репрессии в Финляндии, но по степени значительно их превосходящее. Люди, допускавшие в принципе право на культурное самоопределение каждой нации, растерялись, когда началась гражданская война между двумя родственными народами; поддерживать поляков им казалось несовместимым с чувствами патриотизма, поэтому они, в большинстве, перешли на сторону правительства. Катков отлично воспользовался моментом и, выставив «русское знамя», успел в короткое время уловить в сети реакции массу колеблющихся умов. Политика, убитая на половину реформами, была, таким образом, окончательно добита к величайшему удовольствию реакционеров, и самодур воскрес. В это время в реакционном лагере, к которому всегда принадлежало и правительство, начал складываться в определенную форму софизм, твердо усвоенный так называемыми государственными людьми нынешнего «конституционного» кабинета, а именно, что экономические требования населения или отдельных классов его могут быть допустимы, как не угрожающие общественному порядку, политические же ни

в каком случае, так как они ведут, в случае удовлетворения их, к революции (скорее наоборот).

Из предшествующего ясно, что ко времени семидесятых годов политические интересы в русском обществе должны были в значительной мере заглохнуть. Так и было в действительности. Либерализм кажется никогда, — ни прежде, ни после — не был таким дряблым, как в семидесятых годах. В связи с этим и общество отличалось необыкновенным бессилием, равного которому не было даже в 80-х годах. В этот мрачный период русской жизни, под влиянием систематической репрессии, стала проявляться некоторая солидарность общества, как единственное оставшееся у него средство самообороны. Ни один из возникавших в 80-х годах мелких вопросов не заставал общество раз'единенным. Когда во время министерства Горемыкина не совсем кстати был поднят вопрос о законности, то почти все органы печати в своих передовых статьях дружно прокричали: законность! законность! Также единодушно откликалась печать на вопрос о народном образовании и другие мелкие злобы дня. В семидесятых годах и этой солидарности обороняющихся нельзя было наблюдать. Как в обществе, так и в литературе был полнейший разброд по вопросам самым элементарным. Я здесь разумею вопросы практического характера; что же касается до принципов, то, конечно, в этом отношении не могло быть разногласия между людьми передовых направлений.

Более всего об'единяло людей прогрессивного направления народничество. Под влиянием литературы, с одной стороны и всего склада русской жизни с другой, в миросозерцании передовых людей народнические идеи занимали одно из первых мест. Степень идеализации народа находилась, казалось, в отношении прямо пропорциональном со степенью отчужденности интеллигенции от народа, и с ее стороны заметно было страстное желание слиться с народом хотя бы в области идей. С упразднением «политики» образовалось как бы пустое место в миросозерцании интеллигенции и эту пустоту передовые люди стремились заполнить народничеством.

Славянофильство хотя и было побеждено в 60-х годах западничеством, но еще не окончательно умерло. Передовые круги общества были не чужды некоторых пережитков славянофильских идей. Самые завзятые западники переоценивали, напр., значение русской общины и готовы были верить, что в ней народ сохранил средство обновить не только свою, но и европейскую жизнь. Само собой понятно, что эти пережитки славянофильства еще более толкали русскую интеллигенцию в сторону народничества.

После крымской войны появилась масса книг, — преимущественно, переводных, — по естествознанию, которое попу-

ляризировалось также и в журналах. На этих точных знаниях воспитывались шестидесятники с их верою в человеческий ум. Вера эта мало ослабела и в 70-х годах, но питалась уже из других источников. Семидесятники накинулись, главным образом, на социальные науки. В 1870 году появился в русском переводе первый том «Капитала». Стройностью системы и глубиною критики Маркс произвел на интеллигентную молодежь большое впечатление, которое по силе можно сравнить разве с тем, которое в свое время вызвал Дарвин. Немногие, конечно, одолели Маркса, но идеи его, изложенные в «Капитале», стали входить в общий оборот. Другие более ранние произведения Маркса оставались неизвестными широкой публике; поэтому экономическим материализмом и вопросами историософии семидесятники, читавшие только I-й том «Капитала», мало занимались. Широко распространилось лишь чисто экономическое учение Маркса о трудовой ценности и взляды его на отношения между трудом и капиталом. Семидесятники ощутили в своих сердцах ненависть к эксплоатации труда капиталистами и без колебаний признали освобождение труда одной из первых задач всякой прогрессивной программы. Далее этого не шло значение Маркса, и никто из семидесятников не признавал его отцом научного социализма. Молодежь того времени и после прочтения «Капитала», продолжала оставаться на точке зрения, так называемого ныне, «утопического» социализма и признавала своими учителями Чернышевского, а вскоре потом Лаврова и Бакунина.

Наибольшее значение в смысле выработки миросозерцания имело для семидесятников сочинение П. Л. Лаврова «Исторические письма». Оно будило в душе интеллигента те чувства, которые были заложены в ней всею предыдущей историей и призывало к уплате долга народу за полученное образование. На этой книге, можно сказать, воспитывалось целое поколение. Ни одна статья того же Лаврова, написанная более свободным языком в нелегальном журнале «Вперед», не могла сравниться в отношении влияния на молодежь с «Историческими письмами».

Известно, что в странах, в которых отсутствует политическая свобода, а печать задушена в тисках цензуры, наука, одна сохраняющая некоторую, впрочем весьма ограниченную долю свободы, становится средством распространения прогрессивных идей и приобретает, в некоторой степени, партийный характер.

Лавров первоначально выступил в нашей литературе как философ, которого не признала молодежь, питавшаяся идеями Чернышевского и Добролюбова. Наш философ скоро понял, что наука в России должна играть служебную роль, содействуя

распространению идей равенства и свободы. В этом отношении Лавров едва ли не лучше всех других писателей умел пользоваться своими научными знаниями.

Не только наука, но господствующий научный метод должен был у нас служить той же цели укрепления передовых идей. Индукция и дедукция пригодны были в то время, когда наука являлась самоцелью. В шестидесятых годах, в период широкого распространения научных знаний, ни о каком другом методе не могло быть и речи. В семидесятых годах с утратою смелости в решении основных вопросов жизни, в связи с отмеченным выше ослаблением активности общества нужен был такой метод, который окрылил бы ум начинающего мыслителя и вдохнул бы в него недостающую смелость. К услугам интеллигенции и явился суб'ективный метод, первым провозвестником которого и явился Лавров[1]. Он доказывает в своих «Исторических письмах», что критически мыслящая личность имеет право свои суб'ективные идеалы ставить в главу угла изучения истории. В процессе истории, учит наш мыслитель, мы неизбежно видим прогресс. «Волей или неволей, приходится прилагать к процессу истории суб'ективную оценку, т.-е. усвоив по степени своего нравственного развития, тот или другой нравственный идеал, располагать все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу». Критически мыслящая личность, взвесив свои силы, должна решиться на борьбу с установившимися историческими формами общества. Кто строил историю, спрашивает Лавров? «Одинокие, борющиеся личности». Наш автор, конечно, понимал бессилие таких одиночек, поэтому он далее раз'ясняет читателю, каким путем «обращались слабые личности в общественную силу». Вокруг личностей образуются партии, и сила единичная превращается в силу коллективную.

Теория Лаврова поднимала энергию мыслящего интеллигента и укрепляла в нем веру в свои силы, толкала его на борьбу с устаревшими формами. Гете как-то выразился, что об'ективизм присущ прогрессивными эпохам, а суб'ективизм— регрессивным. Если это изречение и можно признать в известной степени верным, то к семидесятым годам его следует применить несколько в другом смысле. В реакционную эпоху начала семидесятых годов только суб'ективизм мог выступить в качестве революционной силы, об'ективизм мог бы только констатировать господство реакции.

---

[1] Лавров нигде в своей книге не называет своего метода суб'ективным. Разработкой суб'ективного метода, как одного из наиболее пригодных для изучения социологии, занялся у нас Н. К. Михайловский, который поэтому и считался часто творцом этого метода.

Нигилизм имел немаловажное значение для семидесятых годов. Появившись в 60-х годах как крупная общественная сила, перестроившая взаимные отношения личностей в обществе, нигилизм, отринув авторитеты, расчистил почву для воспринятия здорового, прогрессивного миросозерцания. Нигилизм продолжал существовать и в начале 70-х годов, но с обесцвечиванием общества перестал играть роль активного фактора в освободительном движении, ожидая как бы толчка, чтобы снова послужить делу освобождения родины. Между прочим, нигилизм содействовал сокращению потребностей интеллигента и облегчал образование коммун для совместной жизни и взаимного развития индивидуумов. Не подлежит сомнению, что только нигилизм обеспечил возможность участия женщин в движении. Без него мужчины и женщины, подчиняясь устарелым приличиям, были бы слишком разобщены, чтобы работать рука об руку.

Таковы главнейшие условия, при которых выступила на сцену революционная молодежь в семидесятых годах.

II.

Молодежь ко времени начала семидесятых годов.

Молодежь, группировавшаяся около университетских центров, не имела к началу 70-х годов определенного миросозерцания. Тем не менее она, как и во все другие времена, обнаруживала склонность к прогрессивным идеям. Она сильно тяготела к передовому органу печати того времени — «Отечественным Запискам». Каждый месяц при выходе журнала, можно было встретить около конторы студентов, торопившихся получить уже отпечатанную, но еще не разосланную книжку. В числе наиболее любимых писателей были: Глеб Успенский, Щедрин, Михайловский и Елисеев. Последний в своих блестящих внутренних обозрениях, давал руководящую точку зрения на текущие события.

Радикальное направление всегда более других направлений привлекало мыслящую молодежь. За редкими исключениями она или принимала радикальную программу или представляла tabula rasa. В начале 70-х годов часть молодежи, хотя еще небольшая, была сорганизована в радикальские кружки, которые находились во всех университетских центрах по одному в городе, а в Петербурге в количестве 15—20. Кружки вели себя довольно конспиративно и окружены были некоторою таинственностью, что, может быть, более всего содействовало их престижу в среде молодежи. Она знала, что в кружках можно приобретать книги, но остальные дела их были для всех тайной. В действительности, практическая деятельность большинства кружков была довольно слаба, и строго выработанных программ у них не было.

Наибольшее значение, как по числу участников, так и по размерам практической деятельности имел кружок чайковцев, образовавшийся из, так называвшейся, Вульфовой коммуны. В эту коммуну, случайно или сознательно, был подобран народ, выдающийся для того времени по своему умственному

и нравственному развитию. Сначала она существовала, как простая коммуна для общежития и саморазвития. В период нигилистического отрицания всяких предрассудков коммуна решила с'есть принадлежавшую ей собаку, что — по рассказу бывшего члена коммуны, потом эмигранта Александрова — благополучно и исполнила. Реакционеры из правительственного лагеря не знали этого факта, иначе они воспользовались-бы на суде для очернения нигилистической молодежи, которую они всячески старались уличить в разврате и других безнравственных поступках. Между тем, не подлежит сомнению, что нигилисты бесконечно менее повинны в отступлениях от нравственных правил, чем бюрократы и обыватели без принципов, разрешающие себе под прикрытием брачных уз и разных установившихся приличий самые противонравственные поступки. Мужские сорочки, носившиеся нигилистками во всяком случае лучше скрывают наготу женского тела, чем бальные костюмы с вырезом чуть не до пояса. В данном случае питание собачьим мясом, если оно имело место, было лишь простым испытанием стойкости убеждений и свободы от предрассудков. Этот незначительный случай хорошо иллюстрирует нравственную силу и стойкость, которую проявили чайковцы потом в своей практической деятельности.

В числе петербургских радикальских кружков был кружок Долгушина, кончившего свою жизнь в Шлиссельбурге. Этот кружок, не дожив до разгара движения, первый почувствовал неудовлетворенность половинчатою деятельностью современных радикалов и ранее других выступил на чисто революционный путь.

Многие радикальские кружки занимались развитием рабочих, которым они читали по известной, более или менее обдуманной программе систематические лекции и, кажется, все кружки до одного — распространением среди молодежи лучших легальных книг. Нити этого предприятия находились в руках чайковцев. Им удалось с издателями некоторых книг войти в соглашение, по которому эти книги продавались им с большой уступкой. Молодежь того времени не имела больших денежных ресурсов и не в состоянии была приобретать такие ценные книги, напр., как «Биология» Спенсера; в кружках же она продавалась вместо 4 р. за 1 р. Впрочем, деятельность провинциальных кружков была довольно слаба, а в Харькове и Казани почти совсем прекратилась к началу 70-х годов. Более или менее заметной была только работа петербургских кружков, преимущественно чайковцев. Кроме них был чрезвычайно популярен среди петербургских рабочих в 1872—73 годах некто Низовкин. По популярности с ним может сравниться разве Синегуб, который из всех чайковцев

отличался наибольшим успехом среди рабочих. Низовкин, хотя и избегал пропаганды крайних идей, но был арестован в 1873 году среди других революционеров и выдал во время дознания всех известных ему чайковцев и много других лиц. У него явилась какая-то мания выдач, и даже чины, производившие дознание, пытались отделаться от него под благовидным предлогом и не слушать его после того, как он рассказывал все, что знал. Я распространился о Низовкине потому, что далее о нем не будет речи. У Низовкина был талант популяризации, и он, кроме того, умел подбирать себе помощников, в числе которых обвинитель по процессу 193-х называет Доводчикова, читавшего рабочим лекции даже по физиологии. На лекции Доводчикова собирались рабочие не только с Выборгской стороны, где была квартира Низовкина, но и с Васильевского Острова и из-за Невской заставы. На рабочих, привлеченных Низовкиным, в свою очередь пытались воздействовать чайковцы, чтобы привить им наиболее радикальные взгляды, а лучших, может быть, ввести даже в свой кружок.

Радикальские кружки, казалось, должны были послужить кадрами для начинающегося движения семидесятых годов, но это им удалось в слабой степени. Впрочем, не только в этом случае, но и вообще, приходится наблюдать, что существующие в данный момент организации, как бы они ни готовились к ожидаемым стихийным общественным или народным движениям, не успевают становиться во главе их и направлять движение по заранее намеченному плану. Самый большой успех, который когда-либо доставался на долю таких организаций, заключался в том, что им удавалось наконец, об'единиться с движением и до некоторой степени руководить им, но уже тогда, когда движение более или менее определилось. Из петербургских кружков это в известной мере удалось только чайковцам, остальные-же кружки или исчезли в волнах движения, или же замкнулись на прежней маленькой программе.

Часть учащейся молодежи, разочаровавшись в российских университетах, направилась в начале 70-х годов в Цюрих; русская колония доходила там до 300 человек. Большинство мало обращало внимания на лекции, читавшиеся местными профессорами, отчасти по незнанию языка, но еще более потому, что искало другой науки, других знаний. Вопросы о судьбах человечества вообще и родины в особенности, о том участии, которое каждый человек, верующий в лучшее будущее, должен принять в решении этих судеб, всегда привлекали молодежь, здесь-же, в свободной стране, при неограниченном праве собраний, они вскоре стали обсуждаться с неведомой дотоле страстностью. Профессорами в цюрихской колонии явились Лавров и Бакунин. В короткое время молодежь набра-

лась революционного духа и разделилась на два враждующие лагеря, лавристов и бакунистов. Несколько человек бакунистов устроили в Цюрихе обширную библиотеку[1], главнейшая часть которой состояла из книг, в то время запрещенных в России. Когда в среде молодежи стали обрисовываться два направления, библиотека стала яблоком раздора между учредителями — бакунистами и «народом»—лавровцами. Кроме того, было не мало и других недоразумений, которые обыкновенно имеют место между двумя близкими фракциями.

Осенью 1873 года появился правительственный указ, призывавший молодежь, проживавшую в Цюрихе, возвратиться в Россию и угрожавший, в случае неисполнения этого требования, разными репрессиями, вплоть до запрещения в'езда в Россию. Колония, за немногими исключениями, решила подчиниться указу. Молодежь, уже настроенная революционно, решила, что она не имеет права закрывать себе путь на родину, где ее ожидает работа более производительная, чем заграницей. К такому решению подталкивало молодежь и начавшееся движение в России, отголоски которого доходили до Цюриха.

Возвратившаяся на родину молодежь, усвоившая готовое революционое учение от его основоположников Лаврова и Бакунина, казалось, должна была явиться авангардом и даже организатором начавшегося в России движения, но этого не случилось. Местные, не уезжавшие за границу деятели взяли верх, и цюрихцы, между которыми были бесспорно выдающиеся люди, принуждены были встать в ряды, не претендуя на руководящую роль. Местные кружки, не порывавшие ни на одну минуту с родиной, с одной стороны находились в менее благоприятных условиях, будучи принуждены тратить время и силы на самостоятельную разработку революционных идей, но с другой стороны имели большое преимущество в том, что в этой работе они шли рука об руку со всею молодежью и успели приобрести над ней влияние, которого не имели цюрихцы. Но, быть может, главной причиной второстепенного значения возвратившихся из Цюриха молодых людей было то обстоятельство, что они в громадном большинстве принадлежали к лавровскому направлению, которое в России принуждено было в скором времени уступить первое место бакунизму. Этот последний почти исключительно был представлен местными кружками, так как цюрихские вожаки его не возвратились в Россию. Отпадение цюрихцев от

[1] Библиотека эта теперь находится в Париже.

лавризма началось уже тотчас по приезде их на родину. Так, напр., Иван Яковлевич Чернышев (киевский), проявивший потом большую энергию в подготовительном периоде революционного движения, будучи в Цюрихе завзятым лавровцем, с первых же дней пребывания в России об'явил себя бакунистом-анархистом.

III.

Когда именно началось революционное движение. Безучастность общества. Социалистический характер движения.

Едва ли кто в состоянии установить точно даже начало революционного движения 70-х годов. Сенат, судивший участников его в числе 193-х человек, признал, что в 1872 году четыре лица — Войнаральский, Ковалик, Мышкин и Рогачев, умыслив образовать тайное сообщество, привлекли к нему подсудимых. Дата эта опровергается уже тем, что из названных лиц не было двух, которые были бы между собой знакомы в 1872 году. Вернее определил эту дату прокурор, составивший обвинительный акт. Он считает началом движения осень 1873 года. Прокурор знает собственно время арестов, которые, если верить в недреманное око, не могло далеко отстоять от времени начала движения. Брожение существовало много раньше — доказательством может служить долгушинское дело, но я готов и по другим мотивам, чем прокурор, считать начало настоящего, стихийного движения осень 1873 года. Около этого времени появился первый печатный орган русской революции—журнал «Вперед», издававшийся Лавровым в Цюрихе. Почти одновременно отпечатано было евангелие анархистов — «Государственность и анархия» Бакунина. Кроме того, летом в больших городах, за отсутствием молодежи, не могло происходить никакого движения. С'езжается она осенью. Так было и в 1873 году, и сейчас-же начались постоянные сходки с цюрихцами и без них. Из этих данных явствует, что осенью 1873 года, если движение и не началось, то во всяком случае приобрело стихийный характер.

Движение семидесятых годов было по существу революционным. В нем приняла участие исключительно молодежь, состоявшая преимущественно из учащихся в высших и средних учебных заведениях. Бакунин любил подчеркивать это обстоятельство, утверждая, что в России столько революционе-

ров, сколько учащейся молодежи в университетах, гимназиях и семинариях (примерно 40 тысяч). Общество стояло в стороне от движения и долго не догадывалось о нем, несмотря на начавшиеся аресты. Печать до 1875 года, в то время, когда среди молодежи все живое пришло в бурное движение, продолжала тоскливо жаловаться на застой. Это об'ясняется полной обособленностью молодежи. Она всегда знала по журналам, что делается в остальном мире, мир же не мог знать, что происходит в ее среде. К тому же рознь между «отцами» и «детьми», резко выраженная в 60-х годах, продолжала существовать лишь в несколько смягченной форме и в 70-х годах. В общество, конечно, проникали слухи об арестах то там, то здесь, но большинство не имело понятия, за что и почему. Газеты в 70-х годах были слабо распространены и не могли, отчасти и по цензурным условиям, оповестить общество о том, что происходит у него, чуть ли не перед глазами. Между тем, движение получало все более крупный характер, становясь поворотным пунктом в истории русской революции. Революционная деятельность, перестав быть случайной, стала сосредоточиваться в руках партии.

Обособление молодежи от остального общества придало движению необыкновенную силу. В семидесятых годах молодежь попыталась одна, без всякого содействия склонных к компромиссам старших возрастов, порешить все проклятые вопросы, не дающие человечеству мирно существовать, и решила возложить на свои плечи всю работу по обновлению мира. Подобно первым христианам она отрекалась от мира привилегированного, в котором жила, и собственных выгод и могла самоотверженно отдаться борьбе со злом, не заботясь даже о насущном хлебе. Подвиг, приковывающий при всяких условиях наше внимание даже в мелком деле, ради которого он совершается, тем более импонировал, когда не ведающая личных эгоистических интересов молодежь бралась за решение коренного вопроса жизни, за переустройство всей государственной и общественной жизни на началах свободы и правды. Общество, в лице лучших своих членов, в конце концов, выразило, хотя и задним числом, свое сочувствие геройской молодежи, несмотря на то, что ею намечены были революционные средства борьбы — единственные, которые могли быть пущены в ход активным меньшинством.

Выше было показано, что к началу семидесятых годов русская интеллигенция утратила веру в политическую деятельность. Молодежь, конечно, еще более стала отрицать политику и склоняться к чистому социализму. Из трехчленной формулы, завещанной великой французской революцией liberté отодвинута была на задний план и подчеркнуто ègalitè. В случай-

ных и нарочитых собраниях интеллигентной молодежи, имевших место до начала движения, часто дебатировался вопрос о значении конституции и, большею частью, она признавалась не только не необходимой, но даже вредной. Радикалы обыкновенно доказывали, что только социальные преобразования могут спасти Россию, политическая же программа их оставалась неясной.

В начале семидесятых годов молодежь вообще и радикальные ее кружки в особенности стали все более и более склоняться к признанию революционного пути, единственно спасительным в борьбе за счастье народа и за социалистический строй жизни. Это сознание должно было роковым образом привести ко включению в прежние программы кружков политической борьбы, а затем и к полному торжеству политики, что и обнаружилось в дальнейшей эволюции революционного движения в начале 80-годов. С другой стороны, народнические тенденции были еще сильнее выражены в миросозерцании молодежи, чем у остальной демократической части русского общества 70-х годов. Это обеспечивало за революционным движением социалистический характер. У нас революция всегда ставит своей целью социалистический переворот и не может быть сведена исключительно на политические преобразования, хотя бы и самые радикальные.

IV.

Характеристика движения. Стихийность его.

Выше было замечено, что наиболее естественно считать началом революционного движения семидесятых годов появление программных революционных изданий. За год до выпуска первой книжки «Вперед» в кружках циркулировала литографированная программа журнала, кажется, два раза переделывавшаяся. Наиболее влиятельный голос при ее редактировании имели чайковцы. Лавров, будучи без сомнения выдающимся мыслителем и обладая большой эрудицией, не в состоянии был проявить творчество в новой для него области революционных идей, и все время своего участия в революционной литературе не столько направлял молодежь, сколько следовал за нею, дошедши со временем даже до признания в главных чертах программы «Народной Воли».

Приняв продиктованную чайковцами программу «Вперед», Лавров не мог проводить ее настолько последовательно, чтобы не вызвать никаких недоразумений у читателей журнала. В написанной им самим руководящей статье первого номера, под заглавием «Знание и Революция» сказался до известной степени прежний Лавров, философ и профессор, склонный признать, что наука есть единственная, или по крайней мере, первостепенная сила в переустройстве общества. Значение знаний было несомненно преувеличено Лавровым, чем и воспользовались лица более крайнего направления, разделявшие взгляды Бакунина на революцию. Они, в то время еще очень немногочисленные и только начавшие формироваться в кружки, решили дать сражение лавровцам по поводу названной выше статьи и собрали в Петербурге большую сходку на квартире— коммуне, нанятой на имя Блавдзевича или Ковалика. Большинство прибывших на сходку были приверженцы Лаврова, и между ними и бакунистами начались горячие споры. На сходке присутствовал, между прочим, и Чайковский, скрывавшийся от

преследований жандармов, но не выступавший оратором. Более или менее серьезной критике подверг статью Лаврова в длинной речи Каблиц (Юзов). В основании речи была положена совершенно неверная мысль. Каблиц проводил полную аналогию между процессом накопления знания и таковым же процессом капитала. Речь, несмотря на свою парадоксальность, произвела некоторое впечатление; ею Каблиц приобрел, между прочим, последователя в лице известного потом Богдановича-Кобозева и близко к нему стоявшей Палициной. Сами бакунисты находили речь Каблица слабой и слишком искусственной. Но возражения были еще слабее, и бакунисты одержали первую, впрочем, довольно слабую победу. На ту же тему вскоре происходили прения в квартире кавказцев, которые были в то время последователями Лаврова. На сходке говорили в то время из бакунистов Ковалик, Чернышев и др. На этой сходке бакунисты укрепили занятые позиции. Обе упомянутые сходки ни по характеру произнесенных речей, ни по всей своей обстановке вообще, не выделялись среди других сходок, но я остановился на них потому, что они были характерны для той фазы движения, в которой анархисты стали развертывать свои силы. Разговоры все время вертелись вокруг центрального пункта, на котором думали укрепиться лавровцы, чтобы помешать головокружительному стремлению молодежи из университетов в народ. Среди бакунистов были, без сомнения, энергичные люди, но и лавровцы могли похвалиться энергией, знаниями и вообще всем, что дает перевес в спорах, но с первого же собрания становилось очевидным, что окончательная победа останется за анархистами. Она обеспечивалась настроениями молодежи, находившейся в таком приподнятом состоянии духа, что малейшая искра зажигала порох. При таких условиях крайние направления всегда одерживают верх над более умеренными.

Повышенное настроение молодежи не поддается описанию, его можно только иллюстрировать примерами. Нередко можно было встретить небольшие кружки самообразования или просто группы молодежи, которые еще ничего не слышали о начавшемся революционном движении и тем не менее в один вечер, после более или менее незначительных слов, сказанных агитаторами, окончательно переходили в революционный лагерь. Иногда для этого достаточно было прочесть какую-нибудь книжку или даже статью. Примером может служить быстрый переворот, случившийся с сестрами члена оренбургского кружка Федоровича, оставившего им несколько запрещенных книг. Из переписки, приведенной в обвинительном

акте, видно, что сам Федорович поражен был быстротою перемены, которую он увидел при свидании с сестрами. Другой пример: один молодой студент, прослушав споры на сходке, задумался над вопросом, что он должен делать, приобретать познания дальнейшие в высшем учебном заведении или же немедленно приняться за работу в народе. Когда он высказал свои сомнения старшему товарищу, тот, не имея намерения повлиять на решения юноши в ту или другую сторону, заметил, что при отсутствии веры в свои силы ему ничего не остается другого, как продолжать свое учение, когда же явится эта вера, то он сам будет знать, что ему делать. Юноша тут-же постарался заглянуть в свою душу и об'явил товарищам, что он верит, бросает учебное заведение и идет в народ. Еще один интересный пример. В конце 1873 года, или в начале 1874 года Ковалик посетил Харьков и, не найдя там никакого заметного движения, обратился к бывшему студенту Говорухе-Отроку, который ранее принимал участие в кружке, занимавшемся распространением полезных, легальных книг, в это же время, удалившись от всякой общественной деятельности, испытывал некоторое разочарование и начинал впадать в апатию. Разговор с Коваликом разбудил в нем энергию. По желанию своего собеседника он собрал десятка два студентов, семинаристов и гимназистов и выступил на сходке пропагатором анархии, с учением которой он сам только что познакомился. В два-три дня образовался кружок с более или менее определенной программой, некоторым разделением труда и собственной небольшой кассой, в которую члены тащили рубли из жалких средств, бывших в их распоряжении. Очевидно, время направило умы этих людей на поиски руководящих идей, которые могли бы привести в равновесие их мятущуюся душу и служить маяком в их дальнейшей жизни и деятельности. Искание истины настолько охватило учащуюся молодежь, что его не чужды были юноши только что начинающие мыслить. Один самый молодой семинарист, случайно или по зову товарищей, присутствовавший на описанных собраниях, настолько проникся высказывавшимися мыслями, что тут-же отдал последний свой рубль в кассу и только для собственного успокоения спросил, не будет ли препятствием к его вступлению в кружок то обстоятельство, что в семинарии он имеет единицу за поведение.

Во всех умственных центрах почва для революционной пропаганды была подготовлена всем предшествующим режимом, — и школьным в частности, — настолько хорошо, насколько это могли желать пропагандисты. Не даром князь Мещерский, после одного из полученных им откровений, утвер-

ждал, что наша школа при Толстом была школою политического разврата. Молодежь везде задыхалась в тесных рамках жизни и школы, обрекающих людей на полное ничтожество и тем самым лишающих их возможности уплатить народу, как учил Лавров. Поэтому понятно, что анархисты, толкавшие молодежь из школы в народ, должны были одержать верх над лавристами, которые удерживали своих адептов в оскверненных храмах науки с целью всесторонней подготовки к будущей полезной работе.

В борьбе анархистов с лавровцами, как это всегда бывает при столкновении близких направлений, не обходилось без взаимных заподазриваний, насмешек и т. п., высказываемых отдельными, более увлекающимися личностями. Про лавровцев рассказывали, что один из их генералов в страстном желании уничтожить анархию, с'ел, в буквальном смысле слова, анархический листок. Генерал, сидя в вагоне и заметив пристальные взгляды одного пассажира, стал будто бы понемножку жевать и проглатывать анархическую прокламацию. Между лавристами встречались люди, стремившиеся быть plus roylistes, que le roï même. Они доводили учение Лаврова до абсурда, требуя от каждого интеллигента изучения всех наук по знаменитой классификации их в иерархическом порядке, сделанной Огюстом Контом, что сводилось в сущности к прохождению почти всех факультетов университета. Бакунисты ставили это в упрек всем лавристам вообще, и стремление их к приобретению знаний об'ясняли желанием оправдать свое ничего-неделание и в то же время сохранить престиж революционеров. К такому же ничего-неделанию лавристы, по мнению их противников, приглашали всю учащуюся молодежь. Более же всего обвиняли лавристов, или правильнее их вожаков, в стремлении к генеральству. При общей боязни генеральства, свойственной семидесятникам, подчеркивался каждый неправильный шаг видного члена кружка и истолковывался в смысле желания его присвоить себе власть и влияние. В наиболее активных кружках генеральство, если бы и существовало, не могло бросаться в глаза. Лидеры этих кружков в своей кипучей деятельности не только шли плечом к плечу с рядовой молодежью, но нередко занимали самые опасные позиции. Поэтому понятно, что обвинения в генеральстве выдвигались преимущественно против лавровцев, практическая деятельность которых была слабее, чем у анархистов. С своей стороны лавристы относились недоверчиво к бакунистам и обвиняли их в невежестве, истолковывая борьбу с официальной наукой в смысле полного отрицания всяких знаний. Один наивный лавровец был крайне поражен, узнав, что известный анархист, которого речи он слышал на сходке, имеет университетский дип-

лом. Все эти и подобные обвинения высказывались, разумеется, в интимных кругах, публичные же дебаты протекали вполне корректно. Борющиеся стороны громили на сходках слабые стороны направлений, а не недостатки отдельных лиц. Несмотря на некоторые поражения, нанесенные лавровскому направлению осенью, последователи его к концу 1873 года были еще в большинстве.

V.

Бакунисты и их главнейшие кружки.

Бакунин, исключенный в 1872 году, по инициативе Маркса, из Интернационала Гаагским конгрессом за образование в среде союза тайного общества, скоро стал открыто проповедывать свое анархическое ученье. Вместо существующего государства он выдвигал идеал анархии, т.-е. безвластья, осуществляемый в вольном союзе общин, организованном снизу вверх. К этому учению стали примыкать бывшие члены Интернационала в романских странах. Ко времени начала русского движения Бакунин был уже главою анархической партии в Италии и руководил деятельностью анархистов в Испании. Чтобы быть ближе к Италии он поселился в Локарно (кантон Тичино), почти сплошь населенном итальянцами. За свою предыдущую деятельность Бакунин был осужден в нескольких странах и не мог появляться ни во Франции, ни в Германии. В Италии ему также было-бы небезопасно жить. Для обеспечения себе большей свободы действий, Бакунин напечатал в газетах заявление, что он удаляется от всякой общественной деятельности. Это заявление, однако-же, не ввело в заблуждение итальянскую полицию, продолжавшую за ним зорко наблюдать издали. В Локарно он занимал виллу, купленную для него итальянскими анархистами. Здесь его часто посещали итальянцы и получали необходимые указания. Между прочим у него постоянно можно было встретить известных в Италии потом Кафиеро и Коста. Русские молодые люди совершали к нему частые паломничества, но он избегал вредной, по его мнению популярности и старался, по возможности, уклониться от свиданий и охотно принимал у себя только лиц, более или менее известных своей деятельностью в России. Правою рукою его считался Росс, проживавший в то время в Цюрихе.

Один из бывших чайковцев — Феофан Никандрович Лермонтов, вышедший из кружка по каким-то недоразумениям,

задумал составить свой собственный кружок. Предварительно он с'ездил за границу, где виделся с Бакуниным и уговорился распространять в России анархические идеи и устроить анархическую организацию. Проживая на квартире Сергея Филипповича Ковалика, он открыл ему свои планы. Ковалик, склонный и ранее к анархизму, отправился, в свою очередь, к Бакунину и получил те же инструкции, что и Лермонтов. Независимо от них Владимир Карпович Дебогорий-Мокриевич имел, в свою очередь, свидание с Бакуниным и решился принять участие в организации анархической партии.

На свиданиях с Бакуниным решено было не оглашать его прикосновенности к русскому революционному делу. Руководители русской анархической партии должны были действовать от своего имени, а Бакунин — оставаться негласным центром, подобно тому, как это было устроено в Италии и Испании. Кроме того, будущие организаторы анархической партии находили нужным в конспиративных целях не посвящать пока членов устраиваемых ими кружков в идею общей анархической организации и установить ее фактическим путем взаимных сношений глав кружков или наиболее авторитетных лиц. Этот способ оправдывался также и настроением молодежи, стремившейся к полной индивидуальной самостоятельности и унаследовавшей от времени господства радикальных кружков боязнь генеральства. Вместе с генеральством молодежь боялась также и дисциплины, необходимой во всякой правильной организации. Революционная молодежь еще не получила в то время необходимой и достаточной подготовки для подчинения партийной дисциплине и потому отдельные лица, понимавшие ее значение, старались, по возможности, маскировать свою организационную деятельность. Они допускали, что личным влиянием на членов кружков можно достигнуть той общности действий, которая в установившихся политических партиях обеспечивается более всего дисциплиной. План анархической организации рушился вместе с крушением кружков, члены которых засажены были в тюрьмы. Из перечисленных выше лиц Лермонтов и Ковалик действовали в Петербурге, а Мокриевич— в Киеве. Первый собрал около себя кружок из новых лиц, а последние переорганизовали существовавшие кружки. Петербургские кружки, действовавшие в столице, имели большее влияние на распространение анархического учения в других городах, поэтому состав их я считаю нужным перечислить подробно.

В кружок Лермонтова входили следующие лица:

1) Моисей Абрамович Рабинович был молодой человек, лет 17. Он проявлял большую энергию и настолько усвоил себе опытность агитатора, что представлялся большинству имевших с ним дело вполне зрелым человеком. В отсутствие Лермонтова

он выступал представителем кружка, а, отчасти, и руководителем. В прежнее время, когда еще не было изобретено, так называемых, аттестатов зрелости, молодые люди достигали настоящей зрелости, т.-е. полного развития умственных сил, раньше, чем теперь. Это об'ясняется тем, что им приходилось чуть не с малолетства вести борьбу с родителями, а часто и борьбу за существование и учение. Тем не менее слишком раннее развитие Рабиновича вызывало удивление даже со стороны близко знавших его лиц, и опасение какого-нибудь недоброго конца. Опасения эти сбылись. Просидев до суда два или три года в одиночке, Рабинович решил, что такая крупная сила, как он, не должна пропадать даром. Он задумал надуть жандармерию своим мнимым предательством и, выйдя на волю, продолжать свою революционную деятельность. Насколько в этом плане замешан был шкурный интерес, знает только совесть Рабиновича. Но по всем обстоятельствам дела нужно думать, что он в известной степени, по крайней мере, был искренен. Он предавал только людей, которые по его мнению, почти совпадающему с действительностью, уже достаточно были скомпрометированы и участи которых он не мог ухудшить. В заявлении, поданном им следственной власти, он, кроме того, обещал, что, если его выпустят на волю, воспользоваться своей популярностью среди революционеров, узнать все их планы и выдать правительству. Власти оказались предусмотрительно-недоверчивыми, выслушав все, что им рассказал Рабинович, они оставили его до суда в тюрьме. Во время суда, на одном из происходивших ежедневно митингов заключенных (политические сидели в одиночных камерах Дома Предварительного Заключения, выбили у себя окна и вели общую беседу) Рабинович принес покаяние перед товарищами и получил формальное прощение. Он был сильно удручен своим поступком и, будучи сослан по суду на житье в Иркутскую губернию, скоро дошел до самого худшего вида сумасшествия и умер.

2) София Александровна Лешерн фон-Герцфельд — самая старшая женщина-революционерка. Она во время процесса была в возрасте 40 лет. Она еще до движения 70-х годов имела связь с радикалами. В 1872 году, в имении своей матери, в Новгородской губернии, она устроила школу, в которой учителем был долгушинец Гамов. Впоследствии она снова была изобличена в революционной деятельности; осуждена на каторгу, по отбытии которой была отправлена на поселение в Забайкальскую область, где и умерла в конце 90-х годов.

3) Варвара Ивановна Ваховская, ныне по мужу Бонч-Осмоловская, была в то время молодой девушкой. По окончании Каменец-Подольской гимназии, где она уже обращала внимание своими выдающимися способностями, и интересом к обще-

ственным делам, она отправилась для завершения образования в Цюрих и вернулась оттуда в 1873 году ярой анархисткой.

4) Евгения Констатиновна Судзиловская, ныне по мужу Волынская, сестра известного доктора Росселя (Николая Судзиловского), проживающего ныне на Сандвичевых островах. Она ранее других членов кружка отправилась на практическую работу и некоторое время торговала в лавочке, откуда вела пропаганду между крестьянами.

5) Кириак Родионович Милоглазкин, студент технологического института.

Основатель кружка Лермонтов вскоре после суда умер в тюрьме.

В кружок Ковалика входили:

1) Иван Павлович Блавдзевич, студент института путей сообщения, ранее был в военной гимназии, откуда должен был выйти вследствие поражения легкого. Отличался значительными способностями и вдумчивостью, которою, может быть, в известной степени обязан своему физическому недостатку.

2) Сестра его Клеопатра Павловна Блавдзевич, невеста Ковалика, расставшаяся с ним после ссылки его в центральную тюрьму, куда никто из посторонних не допускался. Она отличалась энергией и решительностью характера; некоторое время для ознакомления с жизнью работниц она работала на фабрике в Петербурге.

3) Лемени-Македон, студент технологического института, человек со средними способностями, но в высшей степени упорный и настойчивый, умер до суда в заключении. Ранее всех членов кружка он захотел окунуться в рабочую жизнь и поступил на завод простым рабочим.

4) Фрост, студент, умерший до начала крупных арестов и не привлекавшийся к процессу.

5) Митрофан Александрович Гриценков, студент, производил впечатление очень серьезного молодого человека и совершал некоторые агитационные поездки совместно с Коваликом. На дознании он давал подробные показания, хотя, может быть, и не повредившие никому.

6) Николай Иванович Паевский, студент, медик. Он позже других вступил в кружок, но скоро проявил большую энергию и находчивость, особенно после начавшихся крупных арестов, когда он появлялся в разных городах Приволжья и внутренних губерний. Во время отсутствия Ковалика из Петербурга он оставался представителем кружка.

7) Александр Константинович Артамонов, студент университета. Он пользовался известным влиянием в студенчестве и слыл за человека в высшей степени бескорыстного и нравственого. Судьбе угодно было, чтобы именно он, будучи из-

бранным распорядителем на одной студенческой вечеринке, забрал часть выручки без ведома других распорядителей и передал в революционную кассу. Только известные всем его нравственные качества избавили его от неприятностей со стороны студентов, отрицательно относившихся к такого рода поступкам.

К кружку Ковалика принадлежал также Каблиц и другие, преимущественно женщины. По возвращении Ковалика из-за границы Каблиц с компанией, как констатирует обвинительный акт, отделился от кружка Ковалика и составил свой самостоятельный кружок. Кружок этот заслужил ироническое прозвище «вспышкопускателей» за то, что некоторые из его членов доводили до крайности значение мелких крестьянских бунтов. Подобно тому, как некоторые юные марксисты измеряли деятельность социал-демократа только количеством устроенных им стачек рабочих, вспышкопускатели считали мерилом полезности революционера количество вызванных им мелких бунтов.

В конце 60-х годов Каблиц был студентом в киевском университете и состоял в радикальном кружке. В 1870 году или 1871 он был приглашен Коваликом, избранным в г. Мглине Черниговской губернии мировым судьею и председателем с'езда мировых судей в секретари с'езда, откуда и должен был менее чем через год уйти вместе с Коваликом. Люди, близко знавшие Каблица, характеризовали его, как человека способного и ценного, но слишком зарывавшегося в книги. Кто то даже острил, что ум Каблица блистал бы ярче, если бы он мог забыть половину того, что вычитал из книг. Характеристика эта была близка к истине. Уже из приведеннной выше речи Каблица видно, что он пользовался для выражения своих мыслей, без всякой пользы для дела, формами и терминами, созданными для других целей известными учеными. Эта черта еще более бросается в глаза в статье его, напечатанной в «Неделе» и подписанной псевдонимом Юзов, под заглавием «Ум и чувство». Статья, вызвавшая в свое время резкую отповедь со стороны Н. К. Михайловского, почти вся состояла из цитат, выписанных из разных ученых книг, самому же Каблицу принадлежали только связки в роде: «но, и, а потому» и пр. В этой статье Каблиц явился неудачным выразителем начинавшейся в семидесятых годах реакции против единоличной и беспредельной власти «ума». Семидесятники начинали обращать внимание и на роль, которую в человеческих делах играет чувство, а Каблиц вследствие этого поставил, по выражению Михайловского, ум на запятки, как лакея, а чувство посадил в карету на барское место.

Перейдя во время «диктатуры сердца» из нелегального положения в легальное, Каблиц пробовал свои силы в создании

основ народничества. В трудах своих по этому вопросу Каблиц, полагая, что он остался верным хранителем традиций 60-х годов, делал ошибку подобную той, которую он допустил в рассуждениях об уме и чувстве. Народничество, составлявшее лишь средство для революционной деятельности, он поставил целью, и у него ничего не вышло. Система его во всяком случае оказалась более уязвимой для критика, чем система, с которой потом выступил другой основоположник легального народничества, известный В. В. Каблиц и его quasi ученые рассуждения в настоящее время забыты, а, между тем, он, во всяком случае, был выдающимся человеком и в движении семидесятых годов оставил свои следы. Между прочим, он был одним из первых революционеров, носившемся с мыслью о полезности цареубийства. Семидесятники категорически высказались против цареубийства, и в доказательство справедливости своего мнения ссылались на чисто тактические соображения. Цареубийство, говорили они, должно вызвать репрессии, которые легко могли бы раздавить широко разросшееся, но еще не окрепшее движение. Впрочем, вопрос этот даже не обсуждался на сходках. Каблиц не вел пропаганды цареубийства, но в публике ходили слухи, что он, с целью подготовки какого-то террористического акта, ездил в Лондон. Этот слух подтверждается указанием, сделанным в обвинительном акте, что туда были ему переведены деньги, в количестве свыше 3000 рублей. Каблиц, известный у нас более под псевдонимом Юзова, умер в 80-х годах.

В кружок Каблица входили:

1) Иван Яковлевич Чернышев, бывший товарищ Каблица по киевскому университету. Его не следует смешивать с другим Чернышевым, самарцем, умершим во время следствия, и похороны которого вызвали небольшую демонстрацию. Иван Яковлевич Чернышев ускользнул от ареста и скрылся. Возвратившись из Цюриха, он не пропустил ни одной сходки и большую часть их собирал сам. В этом отношении никто не мог сравниться с ним по энергии и неутомимости, с которою он бегал по Петербургу. На сходках он любил говорить, но речи его не были достаточно выразительны.

2) Николай Яковлевич Стронский, студент из кружка полтавского землячества, умер во время суда.

3) Вера Павловна Рогачева, урожденная Карпова, вышла фиктивно замуж, с целью освободиться от власти родителей за Дмитрия Михайловича Рогачева; впоследствии она вторично вышла замуж за Иллича-Свитыча, судившегося по процессу Ковальского в Одессе. В 1873 году Рогачевой было 17 лет; она всей душой отдавалась делу, но по своему откровенному характеру была мало способна к конспиративности. В Петербурге она ходила работать на фабрику, потом с большинством членов

кружка переехала в Киев, где и была арестована одновременно с коммуною.

4) Цвиленева, бывшая писцом в с'езде мировых судей в Мглине в то время, когда Каблиц был секретарем. Она умерла до процесса.

5 и 6) Сестры Щукины, вышедшие замуж — одна за Каблица, другая за Стронского. Они получили небольшое приданое, которое целиком внесли в кассу кружка.

Из кратких сведений о лицах, входивших в состав только что описанных трех кружков, можно видеть, что лица эти ничем особенным не отличались от остальной революционной молодежи, принявшей участие в движении. Это большею частью были обыкновенные средние люди со всеми достоинствами и недостатками, присущими тогдашней революционной молодежи. Победа анархизма над другими течениями об'ясняется не выдающимся личным составом анархических кружков, а строгою логичностью учения и господствовавшим настроением молодежи.

Кроме петербургских кружков деятельною пропагандою анархических идей занимался киевский кружок, организованный Дебогорием-Мокриевичем. Кружок имел довольно многочисленный состав и представлялся хорошо сплоченным. Мокриевич имел талант убеждать людей. Если он начинал часто ходить с каким-нибудь молодым человеком, то можно было с уверенностью ожидать, что совратит его. Деятельность кружка будет описана ниже, что же касается самого Мокриевича, то он счастливо избежал ареста в 1874 году и был взят значительно позже в одной киевской квартире. Мокриевич был осужден на каторгу, но сменившись с одним уголовным, бежал из Сибири и затем проживал за границей. Взгляды его резко изменились: из самого последовательного отрицателя он стал защитником культурной работы. Он, между прочим, участвовал в журнале «Самоуправление» конституционного направления. В бытность свою эмигрантом он издал свои воспоминания, читающиеся с большим интересом [1].

Почти в самом начале организации кружка в него вступил молодой человек Яков Васильевич Стефанович, сын священника. Мокриевич и другие сразу оценили его, как человека, подающего большие надежды. Вскоре он стал играть видную роль в кружке и затем с частью членов отделился от Мокриевича и сорганизовал знаменитое «Чигиринское дело». Во второй половине семидесятых годов, наряду с «Народной Волей» существовала другая фракция, под названием чернопередельцы. В их органе «Черный Передел» с одной стороны и, прежде

[1] Вышли в России.

всего, развивались народнические взгляды, с другой (отчасти) марксизм[1]. Стефанович считался чернопередельцем, но когда это направление стало падать, присоединился к «Народной Воле» не без тайной, повидимому, надежды повлиять на деятельность Исполнительного Комитета в желательном для него направлении. Сидя в тюрьме, он писал историю революционного движения в России, которая должна теперь храниться в департаменте полиции или другом надежном месте. Это было в начале 80-х годов, когда в обществе ожидали конституцию. Стефанович, по всей вероятности, взялся за упомянутый труд в надежде доказать ссылками на факты из истории революционного движения, что только конституция может спасти правительство от революции. Во всяком случае имя его ручается за то, что он не мог дать жандармам никаких компрометирующих партию материалов, но, тем не менее, некоторые из товарищей относились неодобрительно к делу составления истории движения для агентов правительства. В это же приблизительно время Стефанович, бывший чернопеределец, окончательно очистил свое миросозерцание от примеси народничества и усвоил программу социал-демократизма, или, по крайней мере, близкую к нему.

---

[1] Марксизм „Чернопередельцев“ состоял лишь в том, что они считали экономические отношения фундаментом всех других отношений.

VI.

Петербургские революционные кружки.

Наряду с перечисленными чисто анархическими кружками более или менее видную роль в распространении и организации революционного движения играли и другие петербургские кружки.

Самым старым и влиятельным из них был кружок чайковцев, названый так по имени Николая Васильевича Чайковского, человека с большим практическим умом, много содействовавшего организации кружка. В такой же степени справедливо было бы назвать кружок Натансоновским, по имени Марка Андреевича Натансона, находившегося во время разгара движения 70-х годов в ссылке и потому не принимавшего участия в первых стадиях движения. Кружок имел свои средства и огромные по тому времени связи. Москва, Киев и Одесса находились в постоянных с ним сношениях и часто получали от него директивы. Ссыльные знаменитости, так или иначе, но неизбежно попадали под опеку кружка. Берви (Флеровский), написавший известную в свое время книгу «Положение рабочего класса в России», П. Л. Лавров, Н. Н. Ткачев и др. пользовались услугами кружка. Он устраивал также и побеги их.

В кружке в числе других состояли две женщины, Перовская и Ободовская, считавшиеся молодежью 70-х годов лучшими женщинами в России. Им не уступали по силе способностей и характера и некоторые другие, напр., А. И. Корнилова. Прочие члены кружка без различия полов, представляли собой также более или менее крупные силы. Кроме Натансона и Чайковского, назову Петра Алексеевича Кропоткина, Сергея Михайловича Кравчинского (Степняка), Дмитрия Александровича Клеменца, Леонида Эммануиловича Шишко, Сергея Силыча Синегуба, Василия Апполоновича Стаховского, Ивана Ивановича Гауэнштейна, Михаила Васильевича Куприянова (умер после суда), сестер Корниловых, из которых одна Александра Ивановна,

ныне по мужу Мороз, судилась по процессу 193-х, Николая Апполоновича Чарушина, Анну Димитриевну Кувшинскую, впоследствие Чарушину, Льва Тихомирова, Драго и др. Обвинительный акт в числе членов кружка называет и Рогачева, вследствие близости его к Кравчинскому, но это не верно. Кравчинский и Шишко, (а также Рогачев) были отставными артиллерийскими офицерами, среди которых в то время можно было встретить людей вполне интеллигентных, убежденных прогрессистов и даже почти нигилистов [1].

Из числа перечисленных лиц Кропоткин приобрел общеевропейскую известность и живет в Англии. Кравчинский, так же небезызвестный в Европе, раздавлен поездом в Лондоне, Клеменц избрал ученую карьеру; Шишко эмигрировал; Синегуб остался в Сибири, чтобы дать воспитание своему многочисленному семейству; Чарушин возвратился в Вятскую губернию, Лев Тихомиров, сыграл видную роль в «Народной Воле», перешел в сотрудники к г. Грингмуту. Из остальных, как перечисленных выше, так и опущенных, некоторые и теперь участвуют в освободительном движении. Чайковский в начале 1874 года отказался от революционной деятельности и принял от Маликова новую религию — богочеловеческую. Они потом вместе устроили в Америке религиозную коммуну. После крушения этого предприятия Чайковский поселился в Англии и присоединился к анархистам. В настоящее время он проживает за границей. Натансон был арестован за организацию «Земли и Воли» и второй раз за «Народоправство», но отделался сравнительно легко (если считать легкою десятилетнюю ссылку в Сибири).

Движение застало несколько врасплох существовавшие кружки, в том числе и чайковцев. После более или менее продолжительных обсуждений, они принуждены были признать анархизм, но до самого последнего времени полного единства в этом отношении не достигли. Куприянов, напр., никогда не держался этого ученья. Синегуб, Тихомиров и Стаховский арестованы были раньше, чем чайковцы приняли анархическую программу. Самым деятельным и убежденным анархистом в кружке был князь Кропоткин, оставшийся и доселе таковым. Записка его, содержащая начатки анархии, будет приведена ниже. Как выдающийся мыслитель Кропоткин не только воспринял готовое учение, но и подвергал его дальнейшей детальной разработке. Особенно он любил останавливаться на моменте анархического переворота и смелым размахом кисти рисовал картину глубокого революционного состояния человечества, предше-

---

[1] Полковник Лобов, бывший нигилист 60-х годов, был одним из членов цюрихской колонии. У него собирались лавровцы.

ствующего торжеству анархии. Другим убежденным анархистом среди чайковцев был Чарушин.

Ко времени появления учения анархии у чайковцев существовала своя более или менее разработанная программа революционной деятельности. Это обстоятельство не могло не играть роли задерживающего фактора в усвоении нового учения. С другой стороны большие кружки, как и всякие широкие организации, всегда отличаются некоторою косностью и неповоротливостью. Им трудно приспособиться к новым требованиям времени. Все эти обстоятельства были причиною того, что кружок не сыграл той крупной роли, на которую, казалось, имел право по всем своим данным. Тем не менее, и он внес свою лепту —и не малую — в дело распространения анархических идей. При обсуждении практических вопросов члены его защищали более умеренные способы деятельности и нередко являлись сдерживающим началом для молодежи, предохраняя ее от немедленного осуществления агитации в народе с целью подготовки почвы для всеобщего восстания. Допуская в принципе постановку этих задач, некоторые члены кружка проводили мысль, что, идя в народ, молодежь, прежде всего, должна изучить ту среду, в которой хочет работать и с которой должна слиться. Кропоткин сравнительно редко появлялся на сходках, будучи занят пропагандою среди рабочих. Кроме Кравчинского и Чарушина, наибольшею популярностью на собраниях молодежи пользовался Клеменц. Он ранее занимался с рабочими, успел совершить несколько экскурсий в крестьянскую среду и прекрасно усвоил себе народный говор. Молодежь чтила в нем знатока народа и с удовольствием его слушала. Несмотря на эти качества и ему не всегда удавалось одержать победу над анархистами, из которых еще никто не имел опыта, вынесенного из пропаганды в народе. Молодежь неудержимо рвалась вперед и не всегда была удовлетворена благоразумными речами. В этом нельзя не видеть доказательства того, что самая благоразумная осторожность не всегда достигает цели в периоды сильного возбуждения умов. Известные действия, как бы они ни казались по существу неблагоразумными, неизбежно должны совершиться. С точки зрения наибольшей пользы для дела наибольшее благоразумие со стороны зрелых людей, быть может, заключается в полном об'единении не только в целях, но и в общем характере практической деятельности с неблагоразумными горячими головами.

Из всего сказанного выше очевидно, что главная роль в распространении революционно-анархического движения по всему лицу русской земли должна была перейти к более молодым анархическим кружкам и к отдельным убежденным анархистам, вроде Кропоткина,

Под влиянием чайковцев и анархистов образовалось несколько кружков из учащейся молодежи или же старые кружки землячеств и самообразования были направлены на революционную деятельность. Упомяну о главнейших из них вкратце. Кружок артиллеристов состоял, большею частью, из бывших воспитанников Михайловского Артиллерийского училища и находился почти исключительно под влиянием чайковцев. Еще в 1872 году Кравчинский, Рогачев и Шишко имели сношения с группою воспитанников названного училища, преследовавшею цели самообразования. В этой группе находились, между прочим, Александр Давыдович Аитов, Николай Никитич Теплов, Владимир Андреевич Усачев и Михаил Дмитриевич Нефедов. Все они вышли потом из училища и поступили в высшие учебные заведения. Когда они стали сплачиваться в кружок к ним присоединились Сидорацкий, женившийся на Ободовской — человек с большими способностями, но несколько ненормальный, Фомин и др. В очень близких отношениях к ним находился также Александр Осипович Лукашевич, впоследствии по другому делу осужденный на каторгу. Кружок был хорошо подобран и в целом представлял заметную силу.

Для подготовки к ремеслу артиллеристы под руководством или же только при участии Шишко и других чайковцев устроили первую в Петербурге мастерскую солидную, в которой интеллигентная молодежь обучалась слесарному делу, а, отчасти, и революционному. Мастерская эта имела известное значение в истории революционного движения в Петербурге. В ней перебывало много народа, и она стала своего рода революционным клубом.

Из членов кружка Теплов и Аитов вскоре отказались от чисто революционной деятельности. Под влиянием вдохновенной проповеди Маликова, основателя богочеловеческой религии они, вместе с учителем своим, уверовали, что только пропагандой социализма во имя религии и непротивления злу можно спасти народ и доставить ему счастье. Это не мешало прокуратуре привлечь их к большому процессу. В настоящее время Аитов живет в Париже.

К артиллеристам были близки оренбуржцы или голоушевцы, названные так по имени одного из основателей кружка, Сергея Сергеевича Голоушева. Отец его был жандармским полковником, а мать поддерживала все время сношения с сыном революционером и в известной степени сочувствовала ему. Голоушев, учась в Петербурге, сохранял связи, которые у него были на родине, в Оренбургской губернии. В одну из своих поездок в Оренбург он познакомился с лишенным всех прав состояния Муравским, проживавшим там с 1870 года после отбытия каторги. Муравский был осужден в шестидесятых годах по поли-

тическому делу и в рассматриваемое время был уже пожилым человеком (около 40 лет).

Митрофан Данилович Муравский, известный под кличкою «Отец Митрофан», почуяв начинающееся брожение умов, воспрянул духом, скоро усвоил основную идею движения 70-х годов и начал пропагандировать среди оренбургской молодежи необходимость итти в народ с целью не только просвещения его, но и подготовки к восстанию. Ближе всего он сошелся с гимназистом Павлом Орловым, впоследствии осужденным по другому делу на каторгу и убитым в Якутском округе, где он отбывал поселение. Вместе с Орловым Муравский вошел в кружок оренбуржцев, но остался на месте, чтобы осуществить свою программу. Вскоре он отправился в народ, странствовал по Белебееевскому и Челябинскому уездам и был арестован в Челябе. Не выходя из пределов Оренбургского края, Муравский не мог иметь сколько-нибудь широкого влияния на молодежь. Не имея особых организаторских способностей и не обладая выдающимся талантом творчества, Муравский не мог ни в каком случае встать во главе движения, но по глубине своей натуры и убежденности, граничащей с религиозною верою, без всякого сомнения оказался бы видным деятелем в крупных центрах и привлекал бы к себе молодежь своими душевными качествами.

Отец Митрофан был, как рецидивист, осужден по процессу 193 на каторгу и умер в Андреевской центральной тюрьме, находившейся в Харьковском уезде. Сидя в тюрьме, он под влиянием размышлений наедине и чтения исключительно духовных книг (других не давали), поддался религиозному настроению и становится «отцом» не только по кличке, но и по образу своих мыслей. Отрицая всецело начинавшийся террор, как чисто политическое средство борьбы, он мечтал о нового рода народническо-революционной деятельности, освящаемой религиею, не официальною, конечно, а такой, как она представлялась его уму. Независимо от своего религиозного настроения Муравский производил впечатление на окружающих угодника или святого. Тюремный священник питал к нему глубокое уважение и при отпевании его произнес речь, в которой называл раба божия Митрофана святым и рекомендовал присутствующим молить бога, чтобы он и им приуготовил царствие небесное. К счастью для священника в числе присутствующих не было чинов жандармерии и прокурорского надзора.

В кружке Голоушева, между прочим, принимали участие Клеопатра Осиповна Лукашевич, присоединившаяся потом к самарскому кружку, Мария Ивановна Веревочкина, невеста Голоушева, пропагандировавшая среди крестьян Оренбургского уезда, Леонид Михайлович Щиголев, Соломон Львович Арон-

зон, Леонид Рейнгольдович Траубенберг, Петр Петрович Воскресенский и Димитрий Васильевич Федорович.

Все они, кроме Клеопатры Лукашевич, по мужу Осиповой, попали в большой процесс, так же, как и артиллеристы.

Из саратовского землячества образовался кружок саратовцев, в котором наиболее заметными личностями были Воронцов и Ломоносов, оба студенты — медики. Члены кружка своим здоровым видом и соответствующим ростом производили впечатление вольных сынов степей. Кружок считался довольно серьезным, но очень рано распался. Воронцов, будучи уже скомпрометирован, скрылся, а Ломоносов отстал. Их дело продолжал местный кружок в Саратове, состоявший из семинаристов и гимназистов. Наиболее деятельным членом этого последнего кружка был брат Ломоносова, семинарист, Петр Андреевич Ломоносов.

Еще более, чем саратовцы, обещали занять видное место самарцы, составившие, так называемый, кружок Городецкого.

Лев Сергеевич Городецкий, побывав на нескольких сходках, довольно скоро усвоил руководящие идеи движения. По образу мыслей своих он ближе всего был к чайковцам и вскоре стал выступать на сходках против крайних анархистов-вспышкопускателей. Он спорил также и с другими анархистами, проводя в то же время в своем кружке чисто анархическую программу. На сходках он как бы мыслил вслух, и самые возражения его, казалось имели целью вызвать дальнейшее развитие обсуждаемых мыслей. Это, в связи с другими качествами Городецкого и недюжинными его способностями, заставляло ожидать что он займет известное, более или менее видное место в движении, но этого не случилось. Не успев проявить, вполне своих талантов,Городецкий был рано арестован и на допросах давал более откровенные показания, чем можно было бы ожидать от него.

В кружок Городецкого входили также лица, подававшие надежды: студент Павел Чернышев, похороны которого вызвали демонстрацию, Комов и Бух, впоследствии осужденные по другим делам.

Городецкий и товарищи сохранили связи с Самарой и, наряду с другими приезжими агитаторами, содействовали образованию и быстрому росту самарского, местного кружка, о котором подробнее сказано будет ниже.

Кроме перечисленных выше, в Петербурге было еще несколько земляческих кружков самообразования, которые в большей или меньшей степени усвоили себе революционную идею движения. Так, существовали полтавский, пермский кружки и др. Некоторые из полтавцев примкнули к революционной организации; в числе их был напр., студент Максимов

Павел Дмитриевич, пропагандировавший среди крестьян Полтавской губернии и судившийся по процессу 193.

Пермяки чрезвычайно медленно усваивали идеи, циркулировавшие среди радикальной молодежи, и участия в революционной работе не приняли.

Кроме всех описанных кружков, решивших, кроме пермского, приступить к революционной деятельности, в Петербурге было еще несколько кружков лавровского направления. Члены этих кружков посещали также сходки, на которых решались революционные и народнические вопросы, но во всем составляли правую сторону движения. Они признавали этическую сторону народническо-анархического учения, говорили об уплате народу долга и признавали движение в народ, но лишь в форме занятия известными профессиями полезными народу: медициной, адвокатурой, учительством и пр., летучую же пропаганду совершенно отрицали. Так как лавровцам нужно было подготовиться к указанным профессиям, и, прежде всего, окончить университеты, то в действительности они, за ничтожными исключениями, в народ не пошли и в дальнейшей революционной деятельности участия не приняли.

Кроме лавровцев были еще два-три кружка молодежи, которые, хотя и признавали конечной целью революцию, но ближайшей задачей для интеллигентной молодежи считали науку. Кружки эти не имели никакого значения. Самый азарт, с которым они защищали науку. никем не отрицавшуюся, заставлял подозревать, что они опасались тоже увлечься в сторону практической деятельности и громкими фразами думали заглушить закравшиеся в их душу сомнения.

VII.

Кружки московские и провинциальные.

Из кружков, возникших или преобразовавшихся под влиянием движения в Москве и провинции скажу несколько слов о пяти следующих: московском, киевском, одесском, самарском и харьковском.

В Москве с давних пор существовали радикалы, которые до известной степени подготовили в студенчестве почву для революционной пропаганды. Александр Васильевич Долгушин старался и в известной мере успел утилизировать московский радикализм для нового рода деятельности — революционной пропаганды в народе. Из Петербурга он перенес свою штаб-квартиру в Москву, имел близкие отношения с тамошними радикалами и привлек одного из них — Гамова — в свою среду.

Кстати замечу здесь, что в настоящем очерке я не имею намерения описывать деятельность долгушинцев, которые в своей революционной деятельности практиковали почти такие же приемы, как и участники большого процесса. Долгушинцы не дожили до начала широкого движения молодежи (сидели в тюрьме) и поэтому не могли принять в нем участия. Они года на два, на три опередили движение и были как бы пионерами нового рода революционной деятельности, но не только не всколыхнули молодежи, но ушли на работу почти не замеченные ею. На одной почве, питаясь одними и теми же соками, произрастает много отдельных стебельков; одни из них, вследствие разных случайных причин, созревают раньше, но этим не оказывают никакого влияния на остальные растеньица, приносящие плод в предназначенное им время. Так и долгушинцы были первыми колосьями на ниве народнической интеллигенции, которая продолжала созревать совершенно самостоятельно.

К концу 1873 года мы застаем московскую молодежь, вращающейся главным образом около двух центров — универси-

тета и Петровской земледельческой академии. Первая из этих групп состояла не из одних студентов и раньше стала принимать определенную физиономию, соответствующую духу времени. Это была довольно обширная группа, в которой можно было проследить влияние прежнего радикализма. В ней перебывало несколько видных деятелей из чайковцев, более всего Клеменц и Кравчинский; Войнаральский был в довольно близких с ней отношениях. Некоторые из петровцев также принимали в ней участие, напр. Аносов и Фроленко, известный впоследствии народоволец. Из этой группы с участием нескольких посторонних ей лиц, образовался революционный кружок для пропаганды в народе. В кружке между прочим были: братья Аркадакские, Николай Алексеевич Саблин, застрелившийся в марте 1881 года, Николай Александрович Морозов, в то время талантливый юноша, только что окончивший гимназию, впоследствии известный шлиссельбуржец, и Олимпиада Григорьевна Алексеева. Под влиянием пропаганды чайковцев кружок наметил себе первоначальную, довольно умеренную программу, признавая главною целью движения в народе ознакомление со средою и подготовку себя к дальнейшей деятельности. Попытки анархистов толкнуть кружок к более активной деятельности потерпели полное фиаско.

Из членов кружка Саблин, Морозов и Алексеева проживали одно время в Ярославской губернии в мастерской, устроенной в деревне Иванчиным-Писаревым. Здесь они вместе с доктором Добровольским и Потоцкою занимались и революционною пропагандою среди крестьян.

Петровская земледельческая академия уже в семидесятых годах имела репутацию самого оппозиционного из всех высших учебных заведений. В ней сохранялась память о Нечаеве и революционерах, вышедших из ее среды. Студенты пользовались относительной свободой; общежитие при академии укрепляло связи между студентами, будучи местом, в котором они могли свободно собираться. В нем при случае могли находить убежище и приезжие агитаторы. При этих условиях начавшееся революционное движение не могло не затронуть сравнительно большого числа студентов. Оно между прочим коснулось и студента Богусского, единственного поляка [1], принимавшего некоторое участие в движении. Агитаторы задумывались о привлечении в революционную среду студентов-поляков, обучавшихся в русских университетах, но вследствие отчужденности польских кружков не могли получить к ним доступа. Из обвинительного акта видно, что упомянутый выше Богусский уславливался

[1] Если не считать Студзинского, не принадлежавшего к польским кружкам и выступавшего несколько позднее.

с Коваликом о напечатании прокламаций к полякам, очевидно с целью привлечения их к революционному движению.

Петровскую академию посещали агитаторы из более видных петербургских кружков. Анархисты имели здесь более успеха, чем в описанной выше группе. Из местных деятелей наиболее видными были Фроленко и Аносов. После ряда собраний, происходивших в общежитии, стал формироваться кружок, в котором между прочим приняли участие кроме упомянутого Николая Михайловича Аносова, студенты: Алексей Егорович Знаменский, Александр Андреевич Малиновский, Михаил Гаврилович Соловцовский и умершие вскоре Цветков и Дружинин.

Михаил Федорович Фроленко проявлял уже тогда большую активность и кажется один из всех москвичей не замыкался в тесные рамки местного кружка, а принимал участие в организации движения и в других городах. Так он был в очень близких отношениях с киевским кружком Мокриевича, о котором речь будет ниже. Остальные члены кружка ушли в народ для пропаганды и были арестованы на месте своей деятельности.

Оба московские кружка имели близкие отношения с Войнаральским, работали в мастерской, устроенной им и некоторые в типографии Мышкина.

Ипполит Никитич Мышкин, начавший свою революционную деятельность в Москве, открыл первоначально вместе с неким Вильдэ, а потом весною 1874 года отдельно, при помощи Войнаральского, типографию, в которой печатались в большом числе революционные издания и разные запрещенные книги. В типографии работали студенты и преимущественно интеллигентные женщины, принимавшие участие в революционном движении. Поэтому типография являлась как бы третьим центром в Москве. О Мышкине подробнее будет сказано ниже. Из работавших в типографии назову: Соловцовского, Малиновского (петровцы), Супинскую, Прушакевич, Фетисову, Ермолаеву. Они работали в одной комнате, куда не допускались непосвященные в дело рабочие. Отпечатанные листы тотчас же уносились из типографии.

В семидесятых годах Киев имел уже репутацию одного из наиболее революционных городов в России. Настроение местной молодежи вполне оправдывало эту репутацию. Как революционный центр, Киев имел в описываемое время, большее значение, чем первопрестольная Москва. Революционное движение протекало в нем самостоятельно, почти без всякого влияния со стороны петербургских кружков, но, само собою разумеется, проходило все те формы, хотя быть может и в более резком виде, которыми характеризовалось движение в Петербурге.

К началу движения в Киеве существовал кружок, находившийся в близких отношениях к чайковцам и получавший от них для распространения легальные книги. Кружок был организован на подобие радикальских кружков Петербурга и понемногу занимался с рабочими. В кружке участвовали Эмме, Иван Федорович Рашевский, г-жа Ширмер, имевшая ранее в городе публичную библиотеку, Аксельрод, братья Левенталь и др. Кружок не проявлял большой активности, но охватывал своим влиянием сравнительно большой круг молодежи. Когда в России начали обрисовываться два революционных направления, лавровское и анархическое, деятели обоих пытались придать кружку направление, к которому они сами принадлежали. Для пропаганды лавровских идей приезжал в Киев доктор Воронцов, со стороны же анархистов действовал Дебогорий-Мокриевич. Пропаганда лавризма не могла привлечь к себе страстных киевлян. Из кружка только Эмме и отчасти Рашевский принимали в большей или меньшей степени учение Лаврова, более же молодой элемент сочувствовал анархии. Кружок распался и скоро перестал играть роль в движении. Мокриевич сблизился с Аксельрод и братьями Левенталь и обучал их сапожному мастерству. Лурье также тяготел к Мокриевичу и к анархии. В это же время (зимой 1873 г.) Мокриевич сблизился с Стефановичем. Мало-по-малу около него стал сформировываться новый кружок чисто анархического направления. К кружку принадлежали: Аксельрод, Стефанович, Дейч, Ходько и Фекла Донецкая (перешедшие оба из американского кружка), Лурье, Мария Александровна Коленкина (впоследствии осужденная по другому делу и вышедшая замуж за сына смотрителя Петропавловской крепости Богородского, также сосланного по политическому делу в Сибирь), Малинка, Дробязгвин, Чубаров, (все трое потом были казнены), Студзинский (впоследствии осужденный по делу Ковальского), известная Вера Ивановна Засулич, Виктор Костюрин, перешедший из одесского кружка, Анна Макаревич (жена члена одесского кружка Волховского), Мокриевич, (урожденная Розенштейн, вышла впоследствии замуж за известного итальянского социалиста), Гориновић, облитый потом за предательство серной кислотой, Николай Бух, бывший член самарского кружка и осужденный впоследствии на каторгу, Мария Ковалевская, урожденная Воронцова (сестра известного Воронцова, осужденная потом на каторгу и отравившаяся после истязания в карийской тюрьме Сигиды). В кружок попал каким-то образом известный предатель Курицын. После покушения на жизнь Гориновича явились некоторые разногласия в кружке, усилившиеся еще более, когда Стефанович вместе с Дейчем (впоследствии к ним присоединился и Бохановский), задумали своеоб-

разное чигиринское дело. Кружок разделился еще до начала этого дела, и вместе с Стефановичем ушли кроме Дейча, Коленкина и Засулич. Оба кружка пережили арестный погром 1874 года и дотянули свое существование до начала террора.

Когда революционное движение в России приняло определенную физиономию, и молодежь готовилась уже или даже начала свое хождение в народ, в Киеве стали собираться как члены уже сорганизовавшихся кружков, так и одиночки, почему-либо тяготевшие к югу. Между прочим в Киев переселился почти весь кружок Каблица. Из одиночек появилась Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, урожденная Вериго, уже тогда начинавшая играть видную роль в среде молодежи. Предрасположенная по условиям воспитания к идеализму, она с юных лет увлеклась передовыми идеями и старалась быть полезной народу. Между прочим в самом начале 70-х годов она принимала участие в земских делах Мглинского уезда, Черниговской губернии и по ее инициативе демократическое земство, уже начавшее подвергаться разгрому, избрало в мировые судьи Ковалика. Земское дело не могло всецело поглотить Брешковскую и потому она, особенно после окончательного разгрома Мглинского земства, продолжала искать дела, чтобы отдать ему все свои силы и способности. Начавшееся революционное движение открыло для нее широкое поле деятельности, и она посвятила революции всю свою дальнейшую жизнь. С начала 1874 года она переехала в Киев, где особенно сошлась со Стефановичем и Фишером. С первым она ходила вместе в народ для пропаганды. В кружках молодежи Стефанович был известен под кличкою «сына», данною вследствие того, что в народе его принимали за сына Брешковской, которой в то время было уже лет 30.

Значительно ранее, еще в то время, когда движение едва намечалось, приехала в Киев сестра Брешковской Ольга Константиновна, по мужу Иванова. Она не имела определенного миросозерцания, но была женщина в высшей степени добрая и чуткая. В квартире ее поселилось несколько студентов, и все жильцы составляли одну семью, жившую на началах напоминавших коммуну. Число жильцов в этой коммуне то увеличивалось, то уменьшалось, коммуна переменила несколько квартир и продолжала свое существование и после смерти Ивановой. Всякий интеллигент, имевший знакомых в числе жителей коммуны, мог свободно в ней остановиться на такое время, какое ему было нужно. Тем более имели доступ в коммуну приезжавшие революционеры, которые легко могли получить рекомендацию к одному из членов коммуны, также более или менее прикосновенных к революционному движению. Члены киевского кружка Мокриевича также постоянно посещали коммуну,

а иногда жили в ней. Скоро коммуна сделалась штаб-квартирой революционеров. Кружок Каблица почти целиком переселился в Киев и большинство его членов, само собою разумеется, поселилось в коммуне. Здесь же временно проживали члены других кружков. Все они без всякого принуждения подчинялись порядку, который сам собою установился в коммуне. Собственно говоря коммуна была только общей квартирой, в которой каждый временный жилец получал место для спанья, хотя бы и на полу, и простой обед. Коммуна не имела никаких собственных средств и существовала только благодаря взаимной товарищеской поддержке.

Вследствие отсутствия всякой организации в коммуну могли попадать люди, не отличающиеся высотой нравственного типа. Так, кроме Гориновича — первой жертвой расправы с предателями — в коммуну вошел некий Ларионов Петр Федорович, который своим мнимым или действительным экстазом и преданностью революции и народу вызвал интерес к себе со стороны революционеров. Он, едва посвященный сам в дело, вскоре писал уже такие письма к начинающим революционерам: «Мне одному из смертных пришлось действительно обрести микроскопический уголок этого рая, это полное «дивного огня», правды и честности дело... Я не могу сам теперь ничего написать про известное, в настоящую минуту слившееся с моим существованием «дело», для этого нужно перечитать тебе все посеянное представителями русской заграничной прессы... В будущем я не откажусь помазать тебя миром посвящения. Конечно, если получу убеждение, что ты с теплою верою послушаешь моего глагола и не как Иуда или разбойник, а как друг, брат, а главное человек».

Как было не поверить человеку, выражающемуся подобным образом, особенно в то, полное энтузиазма время. Ларионов поселился в коммуне и был принят в кружок Мокриевича. После небольшого промежутка святой, апостольской жизни, Ларионов стал обнаруживать своим поведением «ветхого» человека. Особенно это проявилось в его любовной интрижке, в которую по словам прокурора-обвинителя, вмешались члены коммуны и уговорили жертву Ларионова не препятствовать его ласкам в виду положительных его заслуг. Это само собою разумеется сплошная выдумка, и Ларионов в действительности не совершил никакого поступка, за который его и всю коммуну можно было бы заклеймить позором, но тем не менее чувствовалась низменность натуры Ларионова, заставлявшая знакомых перешептываться о нем. Это перешептывание превратилось потом в ряд нелепых слухов, которые следственные власти подбирали везде, где могли с усердием достойным лучшего дела. Дальнейшие упреки, посылаемые обвинителем коммуне за якобы

безнравственное ее поведение, настолько нелепы по своей форме, что заставляют читателя скорее уверовать в злой умысел прокуратуры, чем в безнравственное поведение коммуны. Так обвинитель добыл показания от якобы свидетелей, которые слышали: один, что в коммуне спали по две-три пары мужчин и женщин, другой, что таких пар было пять-шесть, а третий, что мужчины и женщины спали в перемежку, мужчина, потом женщина, затем опять мужчина и т. д. Следует удивляться строгому порядку, соблюдавшемуся в коммуне — ни одного лишнего мужчины и непременно в перемежку.

Само собою понятно, что все это сплошная инсинуация, к которой уже с давних пор любят прибегать агенты правительства, чтобы очернить всех тех, кто по нравственному уровню стоит значительно выше их.

Вздорность утверждений обвинительного акта между прочим хорошо видна из одного приведенного в нем примера, якобы доказывающего, что коммунисты далеко не были мирно настроены по отношению друг к другу. По словам прокурора Каблиц и Фишер «дрались между собою на вилках».

Один из членов так называемой киевской коммуны, Василий Александрович Бенецкий, хотя и участвовал в соглашении большинства товарищей по большому процессу протестовать против суда и отказался от защиты, тем не менее, в виду исключительности положения киевлян, выставленных прокуратурой какими-то нравственными уродами, пригласил в защитники Евгения Утина, поручив ему защищать коммуну, а не личность клиента. Утин в блестящей речи, сказанной перед особым присутствием Сената, легко распутал грубо сотканную паутину, в которую прокуратура думала затянуть свои жертвы, и доказал, что члены коммуны были не исчадием ада, а порядочными и нравственными людьми. После речей Утина и других талантливых адвокатов всем стало понятно, что та грязь, которую удалось уловить составителю обвинительного акта (товарищу обер-прокурора сената Желеховскому), процеживая чистое движение 70-х годов через следовательские сита, происходила не от самого движения, а от сит, не отличавшихся, как оно, чистотою. После сказанного можно оставить без всякого опровержения утверждение прокурора, что деятели коммуны Брешковская, Фишер и Тетельман ездили в Мглинский уезд, чтобы добыть от одной помещицы доверенность на продажу ее имения и воспользоваться деньгами, которые могут быть вручены при самой продаже. Я, конечно, не стану отрицать возможности совершения безнравственных поступков со стороны отдельных лиц, примкнувших к революционному движению не только в Киеве, но и во всех других городах — в семье, как говорится, не без урода, — но не подлежит сомнению, что идейные груп-

пы, готовые во всякую минуту на самопожертвование, не представляют сколько-нибудь благоприятной почвы для развития разврата и составления планов уголовных преступлений.

Чтобы покончить с Ларионовым, скажу, что кроме чисто-политического преступления, он обвинялся еще в краже лошади, на которой бежал из Вологодской губернии, и в получении в свою пользу денег из керченского казначейства по доверию крестьян. Оба эти преступления, если они и носили действительно, как утверждает обвинитель, уголовный характер, тем не менее были совершены до вступления Ларионова в революционный кружок.

Как бы то ни было, значительное большинство революционеров, избравших своею штаб-квартирою Киевскую коммуну, отличались недюжинною энергиею, проявили большую работоспособность и во всяком случае не ослабили репутации Киева, как одного из крупных революционных центров.

В Одессе, с самого начала движения, дело приняло иной оборот, чем в остальных городах России. Несмотря на южный темперамент одесситов, все движение протекало у них с наименьшею, чем где бы то ни было страстностью.

Брожение охватило в Одессе широкие круги молодежи, но не носило специально революционного характера — по крайней мере вначале — и приняло своеобразные формы; наряду с проповедью революции в том виде, как это происходило во всех крупных центрах, в Одессе имела некоторый успех пропаганда вегетарианизма, которую вел один француз — доктор. Он думал обновить мир переменою всего образа жизни человечества и приглашал своих последователей переселиться в теплые страны, где можно было бы ходить без одежды и питаться фруктами, и там основать на социалистических началах новое человеческое общество. Француз был сильно обижен Бакуниным, ответившим ему на проповедь вегетарианизма короткой репликой, что в наш век следует питаться буржуазным мясом, и думал своею мирною пропагандою, главным образом среди студенчества, взять верх над имеющей по его мнению кровавый характер пропагандою анархии. У доктора был десяток другой последователей, которых обыкновенно высмеивали студенты, когда они в студенческой столовой требовали себе фасоли и т. п. растительной пищи. Кроме непосредственных последователей учения были еще в сравнительно небольшом количестве и сочувствующие или просто интересовавшиеся личностью доктора.

Другой небольшой кружок или вернее группа собиралась около Ковальского, казненного впоследствии за первое в Рос-

сий вооружённое сопротивление обыску[1]. Ковальский совершенно отрицал революционные пути деятельности и единственно спасительным считал сектантство. Он хорошо изучил предмет и с каждым готов был поделиться своими знаниями, но не имел популярности — некоторые даже считали его маниаком. Впоследствии он переменил свои взгляды и стал убежденным революционером.

Как ни малы были круги, увлекавшиеся вегетарианством и сектами, но тем не менее самая наличность их свидетельствовала о некотором разброде мысли, невозможном в среде с сильно повышенным настроением. Это настроение явилось после, но в начале движения зимою 1873 года его еще не было.

Одесский революционный кружок также имел физиономию отличную от других таких же кружков. Это об'ясняется по всей вероятности выше упомянутыми условиями среды, в которой ему приходилось действовать, а может быть и некоторыми личными особенностями лидера кружка Волховского и его ближайших сотрудников. Кружок мало интересовался анархическим учением и продолжал свое существование и деятельность почти в таком же виде, как это было в радикальский период, предшествовавший движению, заметно усилив только деятельность среди рабочих. Для этих последних были устроены небольшие школки, в которых члены кружка, со всей возможною в то время конспиративностью, постепенно развивали рабочих, подготовляя их к революции. Пропагандой среди интеллигенции кружок мало занимался, но умел улавливать выдающихся людей, которых и вводил в свою среду. Так он принял в свои члены в конце 1873 г. Желябова, впоследствии одного из самых видных народовольцев. Интересно было видеть с какою скромностью и благоговением слушал Желябов речи Волховского и других старших по времени вступления в кружок членов его. Огонек, потухавший в Желябове в то время, когда он находился в составе кружка, тотчас же вспыхивал за пределами. Хотя Желябов и был исключен из университета, но он продолжал принимать участие в студенческих делах и на происходивших по поводу их собраниях резко обрывал признанных студенчеством авторитетов, если не разделял их взглядов.

Скромным и тихим человеком Желябов оставался и на большом процессе, предоставляя руководить товарищами другим лицам, с которыми он никогда не вступал в состязание. Так же скромно он около двух лет просидел в деревне и только, почуяв в себе силу, он вскоре после окончания процесса занял подобающее ему место в партии.

---

[1] Это не совсем точно: первое вооруженное сопротивление оказал осужденный по процессу 50-ти кн. Цицианов. Ред.

В кружке Волховского, кроме Желябова, принимали участие следующие лица: Жолтановский, Ольга Разумовская, по мужу Романовская[1], Вильгельм Ланганс, впоследствии занявший видное место в партии «Народная Воля», Франжоли, Леонид Аполлонович Дическуло, Петр Маркелович Макаревич, Виктор Федорович Костюрин, перешедший потом в киевский кружок, и Леонид Иванович Голиков.

Феликс Владимирович Волховский принимал участие в нечаевском процессе и имел, до начала движения 70-х годов, некоторую известность в радикальных кругах. Обладая большою эрудициею, он в то же время не был лишен и организаторских способностей и владел слогом. Во время большого процесса он составлял для нелегальных листков бюллетени обо всем, происходившем на суде. Отправленный по суду на житье в Томскую губернию, он принимал участие в издававшейся в Томске «Сибирской Газете», был высылаем на Восток и, совершив удачный побег, поселился в конце концов в Лондоне. Здесь он принимал участие в «Листке Фонда Вольной Русской Прессы» и занимался другими литературными работами. Взгляды его делались со временем более умеренными, и он стал склоняться к конституционализму.

Костюрин был еще очень молод, когда сблизился с Волховским. Из всех членов кружка только у Костюрина заметна была как бы некоторая внутренняя неудовлетворенность и искание более крайних направлений. Это сквозило в его речах, когда он защищал общую программу кружка. Вскоре он действительно перешел к самым крайним взглядам и поступил в самый левый из существовавших кружков — киевский. Здесь он замешан был в покушении на жизнь Гориновича и осужден на каторгу (по особому процессу). Впоследствии он принял участие в Сибирской прессе и отдался литературе. В Тобольске он издавал (фактически) газету «Сибирский Листок», которая потом перешла в собственность его жены; газета, конечно, была все время прогрессивная. В Тобольске он принял участие в нынешнем освободительном движении и выслан на север.

По составу своему кружок Волховского был одним из самых серьезных кружков. Члены в него подбирались с большою

---

[1] Романовский, учитель Каменец-Подольской гимназии, вошел в 1871 г. в состав кружка, имевшего целью основать в Америке настоящую коммуну, и в качестве пионера вместе с известным потом писателем Григорием Александровичем Мачтетом и шестидесятником Речицким-Логиновым уехал в Америку, чтобы выбрать место поселения. Пробуя свой револьвер во время скитания по Западной Америке, Речицкий нечаянно убил Романовского. Американцы судили оставшихся в живых товарищей судом Линча, но торжественно оправдали их. Речицкий скоро возвратился в Россию и, будучи арестован в Николаевске, Самарской губ., лишил себя жизни.

осторожностью и после более или менее продолжительного испытания. В этом кружке можно было наблюдать проявления партийной дисциплины, столь редкой в описываемое время.

Необыкновенная конспиративность, с которою велись все дела кружка, казалось, на долго гарантировала его существование. Но волна движения, охватившего вместе с другими городами и Одессу, подымалась настолько высоко, что никакие искусственные сооружения, никакие плотины не могли устоять. Конспиративность кружка тоже кое где порвалась, и сведения о его деятельности проникли за стену, которою он себя окружил. Между прочим, о кружке кое-что известно было некоему Георгию Трудницкому. Он выдал правительству все, что знал о революционерах, не пощадив и кружок Волховского. Трудницкий скоро раскаялся в своем поступке и в порыве отчаяния лишил себя жизни.

Кружок имел более или менее близкие отношения к так называемым Сен-Жебунистам — группе, состоявшей из трех братьев Жебуневых, сплотившихся еще в Цюрихе. Сен-Жебунисты долго отказывались слиться с общим движением и вступить на чисто революционный путь, но в конце концов усвоили общую программу того времени. Эта-то группа и приняла в свою среду названного выше Трудницкого, который и выдал ее. Сергей и Владимир Жебуневы были арестованы, а Николай скрылся.

Самарский кружок образовался из кружка самообразования, в котором принимали участие гимназисты. Кружок изучал литературу и науки, начиная от химии и кончая социологией. Особенно занимали его вопросы об ассоциациях и улучшении быта рабочих. Дух отрицания все более и более креп в кружке и когда до Самары стали доходить отклики начинающегося революционного движения, члены кружка быстро усвоили себе обычную в то время программу революционеров. Самый состав кружка увеличился вследствие принятия новых членов. Деятельность кружка особенно усилилась с приездом Городецкого с товарищами, которые были своими людьми в кружке. Вскоре в Самару начали приезжать анархисты. Войнаральский, практическая программа которого вполне отвечала анархическому учению, также посещал Самару, ходил вместе с Осташкиным к пильщикам и вместе с Селивановым путешествовал по губернии для пропаганды в селах. Семинаристы тоже заинтересовались приезжающими революционерами и зашевелились. Некоторые из них вступили потом в кружок. Вообще все молодое и живое поднялось в Самаре на ноги — образовался настоящий революционный муравейник. Самара 1874 г. во всяком случае не могла разочаровать революционеров в той вере их в Поволжье, которая заставила многих из них избирать

ареной своей агитаторской деятельности расположенные по Волге губернии. Самарцам удалось привлечь к своему делу и нескольких обывателей, в числе которых был Фоминский, давший приют в своем постоялом дворе приезжим революционерам.

Из членов кружка назову следующих лиц: Егора Егоровича Лазарева, эмигрировавшего после суда и ныне проживающего в Швейцарии, Виктора Александровича Осташкина, Василия Васильевича Филадельфова, Владимира Осипова, Ивана Ивановича Белякова, Никифора Ивановича Емельянова. В кружке были: крестьяне, так называемый ныне третий элемент (служащие в земстве), учителя и даже один лакей (Павел Александров).

Кружок пробовал свои силы в народе. Одним из наиболее деятельных пропагандистов был Н. И. Емельянов, крестьянин. У него отчасти у самого, отчасти через Александрова было много связей в среде крестьянства, чем он и пользовался в целях пропаганды. Не получив сколько нибудь широкого образования, Емельянов развил себя чтением, особенно запрещенных книг и был убежденным народником-революционером. Анархия, как учение, его мало занимала, но он с наивностью простой души глубоко верил в успех пропаганды. Скептиков он пытался разбивать такими аргументами: я оставлю после себя (если арестуют) самое меньшее двух сознательных, способных к дальнейшей пропаганде крестьян, каждый из них сделает тоже и таким образом через небольшое число лет даже в глухой деревне будут сознательные революционеры, при помощи которых легко будет произвести социальный переворот.

Самарский кружок был, без всякого сомнения, одним из самых выдающихся кружков, работавших в глухой провинции, вдали от университетских центров.

В противоположность Самарскому, Харьковский кружок не представлял собою ничего замечательного ни по своей деятельности, но по личностям, входившим в его состав: тем не менее история его образования в высшей степени интересна в том отношении, что наглядно показывает силу революционного вихря, роковым образом захватывающего в свой круговорот даже самых средних, но лишь бы молодых и честных людей.

Кружок, как упомянуто выше, образовался по инициативе лица, приехавшего в Харьков лишь на несколько дней (Ковалика). Весть о приезде агитатора с быстротой молнии облетела учащихся, и кружок закончил свою организацию в бытность Ковалика.

До 1874 года Харьков был одним из самых глухих в революционном отношении городов, а студенчество — одним из самых мирных и отсталых в России, могшим сравниться только

с Казанским[1]. До приезда Ковалика в Харькове уже был прочитан № 1 журнала «Вперед», не произведший почему-то особого впечатления на молодежь. По крайней мере чтение не вызвало не только сходок, но даже коллективного обсуждения прочитанного в небольших группах. Самый круг лиц, прочи-

---

[1] О Харькове начала 70-х годов у Ковалика совсем неверное представление. Там в это время кипела общественная жизнь. Кружки, многочисленные сходки. В моем доме (который Аптекман называет „розовым домом“, см. „Земля и Воля“, харьковские кружки) с утра до поздней ночи, как пчелы в улье—гудели голоса молодежи. В нем собирались кружки: студенческий, женский, изучавший утопический сициализм, работниц—модисток, народных учителей Харьковского уезда, читались лекции политической экономии и др. предметов, был клуб, в который сходились члены различных кружков. Была касса взаимопомощи, об'единявшая Харьковское Общество грамотности, во главе которого стоял проф. химии Н. Н. Бекетов, человек удивительной духовной красоты, организовало воскресные школы, в которых мы имели возможность знакомиться с рабочими. Рядом существовала школа известной деятельницы по народному образованию Х. Д. Алчевской, школа, прекрасно поставленная в педагогическом отношении, но определенно монархического направления; с этой школой мы вели упорную борьбу.

Зимою 70—71 г. в Петербург ездил Я. И. Ковальский (не смешивать с казненным Ковальским) делегатом от харьковского студенчества на студенческий с'езд, там завел сношения с чайковцами, мы стали получать тенденциозную литературу (Лассаль, Флеровский и проч.), распространением которой в это время занимались чайковцы.

Вся наша работа была временно прекращена появлением в моем доме жандармского полковника Ковалинского, который потребовал прекращения всех собраний, а в случае неисполнения заявил, что по предписанию свыше должен будет произвести аресты.

Кроме моего дома, одновременно существовали кружки: студента Малютина, организованный Немировским кружок приказчиков, кружок студентов из Курска, в котором более видным были Леонтьев, Хитрово. Затем кружок Дилевского и Бриллиант. Этот последний принял активное участие в Харьковском бунте на Пасху. Бунт был против полиции, трое суток бушевала толпа, были разгромлены два полицейских участка, на двух каланчах полиции взвились красные флаги, раздавались зажигательные речи, гарнизон стрелял, были убитые. По этому делу были сосланы на север Дилевский и Белоусов. Отделались они сравнительно легко благодаря энергичному заступничеству Н. Н. Бекетова и благодушию Ковалинского, который старался потушить эту историю.

Вскоре после бунта я уехала за границу. Вернувшись в 74 г. я застала массу арестов в России (котор. и составили процес 193-х.) Кружок, скоропалительно организованный Коваликом в Харькове, был тоже арестован. Вожди его Барков, Говоруха-Отрок—вели себя на дознании постыдно, выдавая все и всех. Этот кружок, вопреки мнению Ковалика (якобы разбудивший спавший Харьков), сделал как раз обратное: молодежь стала не доверять друг другу, прятаться со своими мыслями. Странно, что Ковалик говорит, будто благодаря этому кружку в Харьков был назначен ген.-губернатор. Ген.-губернаторы были в это время назначены не в одном только Харькове и никак не потому, что правительство испугалось раскаявшихся грешников Баркова и Говорухи, о которых сам Ковалик дальше говорит, что один отошел от революции, а Говоруха даже перешел открыто в черносотенный лагерь.

Прим. Е. Н. Ковальской.

тавших «Вперед», был весьма ограничен. Трудно допустить, что Харьковская молодежь была не подготовлена к восприятию учения Лаврова, поэтому остается предположить, что в Харькове случайно не нашлось человека, обладающего агитаторскими способностями и умеющего перевести на практическую почву идеи, развивавшиеся в журнале. В приезд Ковалика дело обстояло иначе и результаты получились другие.

Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, узнавши от Ковалика, что революционное движение быстро развивается в России, отдался новому для него делу со всей энергией, на которую был способен, и на первое время стал руководителем кружка. Кружок имел целый ряд сходок. На первой из них, по свидетельству обвинительного акта, Говоруха доказывал ненормальность существующего политического и экономического строя. Этот строй должен быть поэтому уничтожен революцией. В то же время оратор утверждал, что физический труд есть единственно честный труд и звал слушателей в народ для революционной деятельности, имеющей, конечно, своею целью восстание. На другой сходке Говоруха развивал уже мысль о необходимости устрашения правительства и привилегированных классов и на вопрос одного из семинаристов, как это сделать, будто бы ответил: «да я сам сейчас зарежу прокурора». Видимая абсурдность этого ответа показывает еще раз, насколько ненадежными показаниями руководствовался прокурор при составлении обвинительного акта. Между тем, к услугам его был обильный материал, собранный дознанием. Большинство членов кружка и вообще лиц, бывавших на сходках, и во главе их сам Говоруха, давали подробные показания обо всем, что им было известно. Кружок в полном составе не приступил к практической деятельности и потому не могло существовать таких дел, которые требовали строгой тайны, болтовня же о сходках почему-то не казалась харьковцам предосудительною. Одно показание, данное с полною откровенностью жандармам, вызвало ряд других подобных же показаний. Как бы то ни было, но данные, приведенные в обвинительном акте, послужили одним из главных материалов при составлении этого очерка Харьковского кружка.

Говоруха представлял собою тип разочарованного лишнего человека. Под влиянием новых идей он на время воспрянул духом, но оживление и под'ем энергии продолжались у него не долго. Скоро он стал устраняться от руководства кружком и даже от всякой деятельности. Говоруха между прочим имел склонность к литературе. Из тюрьмы он посылал Н. К. Михайловскому какой-то написанный им рассказ и получил благословение знаменитого критика на дальнейшую литературную деятельность. По выходе из тюрьмы Говоруха пристроился од-

нако не к передовым органам печати, а к реакционной газете «Южный Край», издававшейся в Харькове, и за свою постоянную травлю в ней студенчества получил пощечину от одного из студентов. Пробыв несколько месяцев революционером, Говоруха умер реакционером или по меньшей мере участником в реакционной литературе.

По устранении Говорухи главная роль в кружке перешла к Николаю Михайловичу Баркову, студенту Харьковского университета. Он продолжал развивать в кружке программу революционной деятельности в анархическом духе. Он вместе с другими агитировал в среде ветеринаров, по словам обвинительного акта он также доказывал необходимость уничтожения правительства, считая его, а не личность царя, виновным во всех несовершенствах общественного строя. «Члены царствующего дома, по его словам, должны быть устранены, т.-е. должны, потеряв влияние, поступить в разряд всех других граждан». Барков вместе с семинаристом Спесивцевым и ветеринаром Емельяновым ходил в соседнее село для пропаганды рабочим революционных идей, но рабочие будто бы отказались от предложенных им нелегальных книг. Во время главенства Баркова окончательно завершилась организация кассы, получившей начало еще при Ковалике. К кассу поступили деньги от розыгрыша в лотерею разных книг и от продажи революционных изданий. Весь фонд кассы состоял из 170 рублей.

Барков тоже не долго играл руководящую роль, которая постепенно переходила к ветеринарам. Среди них одним из деятельных членов был Калюжный.

Анархисты издали следили за развитием кружков в Харькове. В апреле 1874 г. в Харьков приехал, по поручению Ковалика, Рабинович с книгами и деньгами. В это же приблизительно время Харьковский кружок был введен в зачаточную революционную организацию (общую кассу), о которой будет сказано ниже. Приезд Рабиновича вызвал оживление, сходки участились и самый круг лиц, причастных к движению, расширился. На сходках стал играть заметную роль ветеринар Лебедев под именем Долинского, застрелившийся во время производства дознания. В одном из перехваченных писем ветеринара Михаила Михайловича Серебрякова, судившегося по процессу 193, между прочим читаем: «В Харькове дух нашей братии и вообще всех изменился к лучшему; все интересуются крайне подпольною литературою. Дело Долгушина не сходит с языка, все трактуют, возмущаются, приходят в препирательства и просто зачитываются цюрихскими изданиями. Но все это пахнет чем-то навеянным извне, временною экзальтациею, а не продуманными убеждениями».

На лето члены Харьковских кружков, как первоначального, так и ветеринарного раз'ехались, некоторые поселились в деревнях и пробовали свои силы в народе. Семинарист Михаил Феоктистович Спесивцев перебрался в Пензу, где вступил в сношения с Войнаральским и принимал участие в местном кружке, затем он появляется в Самарской губернии. Барков уехал в Екатеринославскую губернию, ходил там по деревням и начинал уже разочаровываться.

По отношению ко многим деятелям харьковских кружков Серебряков был прав, утверждая, что они были временно экзальтированы. Весь семинарский кружок не выдерживал строгой критики, если смотреть на него с точки зрения способности его членов к продолжительной революционной работе. Главы этого кружка также расписались в полной неумелости вести дело. Но характерность всей истории возникновения и дальнейшего существования кружка заключается именно в том, что при крайней его неустойчивости и слабости входящих в него сил, он сыграл крупную роль в деле революционизирования Харьковской молодежи. Только со времени появления на сцену кружка Харьков изменяет установившуюся за ним репутацию: из тихого города он становится одним из революционных центров, в котором правительство сочло даже нужным посадить после Турецкой войны особого генерал-губернатора.

Некоторую, впрочем довольно слабую связь с Харьковскими кружками имел Виктор Александрович Данилов. Обвинительный акт констатирует, что он уехал из Харькова на Кавказ на средства кружка.

Имея около 20 лет от роду, Данилов отправился в Цюрих и поступил в политехникум, где занимался науками и принимал слабое участие в жизни русской колонии. Он всегда отличался оригинальностью, которая не позволяла ему следовать по пути, обычному для людей его круга. В то время, когда в русской колонии кипела бурная жизнь и обитатели ее делились на две враждующие партии, Данилов не пристал ни к одной и со всею страстностью, на которую был способен, отдался изучению русского сектантства, долженствующего по его мнению сыграть крупную революционную роль в России. Когда колония раз'ехалась, он остался в Цюрихе, но потом и сам бросил науки и возвратился в Россию, чтобы осуществить свою заветную идею — вести народ к революции через сектантство. Прожив некоторое время в Харькове, он отправился на Кавказ к молоканам. Он довольно долго оставался в среде сектантов, сошелся с ними и пользовался у них уважением.

Мирная деятельность среди сектантов не могла удовлетворить активной натуры Данилова, и он стал искать революционных путей деятельности. Возвратившись в Харьков, он во вто-

рой половине семидесятых годов собрал небольшой кружок революционного характера, в котором наиболее видным членом был юный Александр Осипович Сыцянко, сын харьковского профессора, кончивший свою жизнь в 90 годах самоубийством в Воронежской тюрьме. Кружок был арестован и предан суду, приговорившему Данилова к каторжным работам на 4 года. Отбыв этот срок, он вышел на поселение. С этого времени начинается его скитание. Он бегал, был снова водворяем в ссылку и становился чем-то вроде революционного бродяги. В это время ему пришлось совершить несколько путешествий вместе с партиями политических арестантов. Таким образом он составил себе большое знакомство с революционными деятелями разных эпох и приобрел себе много поклонников среди молодых революционеров. Собственно с этого времени и начинается его слава[1]. Сам он еще более революционизировался. Революция стала его единственною профессией и в бумагах, подаваемых начальству, он подписывался не иначе, как «пленный социалист».

В отношении своих личных потребностей он был строгим ригористом и не позволял себе не только никаких излишеств, но считал даже роскошью обыкновенную пищу политических арестантов. Стараясь приготовить для них, насколько позволяли средства, вкусный и здоровый обед, он сам питался об'едками или же варил себе какую-то похлебку из трав. В своем собственном питании он придерживался вегетарианства, но не обыкновенного, а своеобразного, как и все, что он делал. Во время своего содержания на Каре, он, как и все товарищи, имел право на расходование 75 копеек в месяц на чай, сахар, табак и пр., но не тратил на себя ни копейки и время от времени задавал угощение своим сожителям по камере в виде пирогов и т. п. Это показывает, что у него, как и у всех высоконравственных людей, наряду со строгими принципиальными требованиями к себе была самая широкая снисходительность к мелким человеческим слабостям.

По природе своей Данилов должен был бы явиться в мир в качестве нравственного учителя, а между тем судьба сделала его революционером по профессии. В этом противоречии заключается причина как его силы, так и слабости. Молодежь увле-

---

[1] Никаких поклонников у Данилова не было. На него смотрели, благодаря проявленным им большим странностям, как на человека психически больного, что отчасти было верно. Революционером по натуре он не был, у него было очень туманное мистико-религиозное мировоззрение, за которое он стойко держался и которое проводил в жизнь. В 1908 или 1909 г. (точно не помню) он выступал со своей крайне странной полутолстовской программой в Париже, чем вызывал только смех среди аудитории.

Примечание Е. Н. Ковальской.

калась им как героем, не имевшим обычных человеческих недостатков, люди же, видавшие всякие виды, относились к нему с некоторым скептицизмом, как к человеку, который не в состоянии осуществить на практике те великие революционные задачи, которые он себе ставил. В своей революционной деятельности он всегда являлся больше проповедником, чем организатором. Отсюда понятно, что на Каре, где собрано было много выдающихся людей, Данилов не имел той популярности, которой он пользовался в арестанстких партиях, состоявших большею частью из молодежи.

После долгих странствований Данилов был водворен в Колымском крае. Здесь он наконец почуствовал, что организм его начинает изнашиваться, не в состоянии далее выносить тех лишений, которым он себя подвергал добровольно. Он должен был разрешить себе вино и елей, т.-е. питаться, как все обыкновенные смертные. Но и здесь он сохранил свою своеобразность, поселившись один далеко от остальных товарищей в Верхне-Колымске. Сначала он все получаемое казенное пособие затрачивал на выписку книг философского содержания, которыми он зачитывался в уединении, но потом он стал вести обыкновенную жизнь якута-скотовода, помогая бедным якутам советами и материальными средствами. Этот период его жизни описан Таном в рассказе под заглавием «Ожил». Автор описывает возрождение Данилова к новой жизни. Собственно говоря, с точки зрения прежнего Данилова, рассказ правильнее было бы назвать «Умер».

VIII.

Выдающиеся одиночки: Войнаральский, Рогачев, Мышкин и Маликов.

В предыдущих главах дан очерк наличных сил революционного движения в лице организованных кружков. Очерк был бы не полон, если бы я умолчал о наиболее выдающихся одиночках, принимавших более или менее видное участие в движении.

Одним из самых выдающихся людей того времени был Порфирий Иванович Войнаральский, незаконный сын княгини Кугушевой, принявший фамилию своего отца, прочтенную наоборот, от конца к началу, с прибавлением «ский». (Вонойральский, потом переделанную для благозвучия на Войнаральский).

За участие в студенческом движении 1861 года он был выслан из московского университета на север, в возрасте около 17 лет. Будучи студентом, он стоял ближе всего к группе, известной потом под именем каракозовцев. В этой группе были земляки Войнаральского, с которыми он поддерживал некоторые отношения почти до своей смерти. В начале семидесятых годов он возвратился из ссылки на родину в Городищенский уезд Пензенской губернии, где был избран мировым судьею, но продержался не долго, не будучи утвержден, как и Ковалик, в этой должности Сенатом[1].

Войнаральский не принадлежал ни к какому определенному кружку. Предавшись всею душою революционному делу, он с первых же шагов встретился на избранном им пути со многими кружками и не слился окончательно ни с одним. О бли-

[1] Войнаральского и Ковалика публика считала как бы двумя близнецами (вроде Стефановича и Дейча) и иногда даже перепутывала их фамилии и деятельность. Повод к этому дан был не только некоторым сходством ролей, которые они играли в движении, но еще более их одинаковым общественным положением. В ссылке они действительно были близки между собой, но во время своей революционной деятельности шли разными путями, сходившимися, конечно, в одной точке.

зости его к московским кружкам, а через них и к чайковцам, уже было упомянуто. Он был также своим человеком в кружках: Саратовском, Пензенском и Тамбовском, участвуя вместе с Рогачевым в организации двух последних.

Войнаральский не умел отдаваться захватившему его делу наполовину. Раз он ступил на революционный путь, он отдавал революции все свои силы и материальные средства. Его личное состояние, доходившее до 40 тысяч рублей, было достоянием революции. Правда, не все его деньги были употреблены на дело, которому он служил — часть пристала к рукам распорядителей, которых он должен был назначить, когда был вместе со своею женою арестован. В обвинительном акте сохранилась характерная черта для Войнаральского и всех вообще деятелей движения семидесятых годов. В мастерской, устроенной на его средства в Москве, он повесил на стенке сумку с деньгами (400—500 руб.) и всякий из постоянных посетителей мастерской мог свободно опускать руку в сумку и брать столько денег, сколько ему было нужно.

По природе своего ума Войнаральский не был теоретиком. Обладая ясным умом, он быстро усваивал сущность всякой новой идеи или нового учения, но его более всего интересовала практическая сторона дела — способы их осуществления. Даже в самый разгар своей деятельности он никогда не об'являл себя последовательным анархистом, а между тем по образу своих действий он был несомненно таковым. Войнаральский был по преимуществу практик, интересовавшийся более всего материальными следами своей работы. В среде интеллигенции он устраивал мастерские, типографии, агентуры, в народе — лавочки, постоялые дворы и разные притоны для пропагандистов. Сетью таких, связанных между собою, пунктов он мечтал покрыть весь район Поволжья, куда он перенес главную свою деятельность.

Независимо от этой деятельности чисто организационного характера, Войнаральский стремился испытать свои силы на пропаганде революционных идей в народе. Получив от Самарских пильщиков адреса крестьян, способных сочувственно отнестись к проповедуемым им идеям, Войнаральский в сопутствии Селиванова обошел два уезда — Сызранский и Корсунский. Затем в сообществе Надежды Юргенсон ходил в Ставропольский уезд, где был временно арестован сельскими властями (об этом будет упомянуто ниже). Войнаральский остался очень доволен результатами своих путешествий. Ему между прочим удалось устроить несколько новых пунктов для предполагаемой сети.

Войнаральский был окончательно арестован в Самаре в конце июля 1874 г. и вскоре был увезен в Москву, а затем

и в Петербург, в Петропавловскую крепость. Ко времени начала следствия, во главе которого стоял сенатор, Войнаральский и другие заключенные были переведены в Дом предварительного заключения. Здесь он и Ковалик составили план побега и в одну, уже довольно светлую, петербургскую ночь пытались осуществить его. С воли устройству побега помогали Григорий Александрович Мачтет и Орест Мартынович Габель [1]. Когда беглецы спускались на простынях по стенам тюрьмы, их увидел инженер Чечулин, возвращавшийся навеселе из клуба, некогда сам сидевший по политическому делу в крепости. Он поднял тревогу, и беглецы, уже садившиеся на извозчика, были пойманы и препровождены вместе с Чечулиным в участок. Этот последний раскаивался в своем поступке и уверял, что принял спускавшиеся по стене фигуры за уголовных преступников.

Суд приговорил Войнаральского, наравне с другими «зачинщиками» Коваликом, Рогачевым и Мышкиным к 10-летней каторге, но ходатайствовал о замене наказания ссылкой на поселение. Только Мышкин был исключен из ходатайства, как совершивший «уголовное» преступление, отстреливаясь в Вилюйске от ловивших его казаков. В это время была оправдана присяжными заседателями Вера Засулич, стрелявшая в Трепова-отца. Это обстоятельство настроило «звездную палату» того времени на воинственный лад, и под ее давлением министр юстиции Пален сделал соответствующий доклад государю. Ходатайство суда не было уважено и только время предварительного заключения — для Рогачева два года, а для остальных четыре — было зачтено в срок каторги [2].

В конце 1878 года Войнаральский, Ковалик, Рогачев и Муравский по высочайшему повелению были закованы в Петропавловской крепости в кандалы и под усиленным конвоем отправлены в Харьков, а оттуда по одиночке в Ново-Борисоглебскую или Андреевскую централку, отстоящую от Харькова в 50 верстах. Зная приблизительно время отправки каторжан в централку, революционеры решили отбить одного из них во время следования в Андреевку. Нападение было произведено в то время, когда везли Войнаральского. Нападавшие ранили одного из сопровождавших арестанта жандармов, другой же в это время всею тяжестью своею налег на ноги Войнаральского и тройке удалось ускакать [3].

---

[1] Габель, по крайней мере, был арестован по делу о побеге.

[2] Через некоторое время это же было проделано с Сажиным, доставленным также в Андреевскую централку.

[3] Мысль отбить во время дороги принадлежала Перовской, которая главным образом стремилась освободить Мышкина, но харьковцы не сумели во время проследить проезд Мышкина (об этом говорит и Тихомиров в своей книге воспоминаний). *Прим. Е. Н. Ковальской.*

Войнаральский с товарищами просидел в централке, в одиночном заключении, около двух лет. Только в самое последнее время их заключения разрешены были прогулки по двое. В либеральный период Лорис-Меликова арестанты из обоих централок — Андреевской и Печенежской — были переведены в Мценскую пересыльную тюрьму, а оттуда за исключением Сажина, отправленного из Иркутска прямо на поселение, в Карийскую каторжную тюрьму[1]. На Каре более чем верноподанная администрация продолжала произвольно держать Войнаральского (равно Рогачева и Ковалика) в кандалах, полагая, что она слишком ничтожна, чтобы иметь право толковать высочайшее повеление, данное только на время следования в Харьков.

Товарищи Войнаральского, как по путешествию на Кару, так и на самой Каре, быстро оценили практические его способности и обыкновенно избирали его в старосты, как для ведения артельного хозяйства, так и для сношений с начальством.

По отбытии срока каторги, сокращенного на основании существующих положений, Войнаральский в 1883 году был отправлен на поселение в Верхоянский округ Якутской области, расположенный близь северного полярного круга. В первое время он жил в якутских стойбищах, в собственной юрте, занимаясь понемногу адвокатурой и мыловарением. Приготовить самое простое мыло оказалось делом в высшей степени трудным. Зола, получавшаяся в месте жительства Войнаральского, как содержащая мало щелочи, была непригодна для мыловарения и пришлось нарочито выжигать золу из тополя, растущего в растоянии 300 верст. Войнаральский жил как простой якут, питался молочными продуктами и мясом. Он делал опыты посева ячменя, но не получил сколько-нибудь удовлетворительных результатов. И здесь судьба свела его с Коваликом, высланным в тот же Верхоянский округ и занимавшимся в городе печными работами и плотничеством. Впоследствии Войнаральский тоже переехал в Верхоянск и сосредоточил в своих руках торговлю, которою ранее занимались немногочисленные там политические.

Вскоре ему удалось переехать в г. Якутск, где он получил возможность приобретать в более широком размере в кредит необходимые товары, отправлявшиеся в Верхоянск на лошадях вьюком. Но политические были плохими торговцами, и Войнаральский скоро прогорел, превратившись из купца в обыкновенного ссыльного, живущего на жалкое денежное пособие

---

[1] Не попали на Кару четыре человека, страдавшие психическим расстройством: Боголюбов, который подвергся истязанию по приказанию Трепова (за что Засулич и явилась мстительницею), Донецкий, Плотников и Соколовский.

от казны. Положение его было тем более тяжело, что в это время он был уже семейным человеком и имел четверых детей.

Первая его жена не последовала за ним в ссылку и осталась в России с единственной дочерью, родившеюся в тюремной камере в Самаре. Между мужем и женою произошло охлаждение еще до судебного приговора, после же него никакие свидания не допускались в централке, так что, даже и в случае желания, жена не могла вначале следовать за Войнаральским. С течением времени Войнаральский стал совершенно равнодушен к жене, но дочь, взятую на воспитание близким ему человеком, он продолжал любить и часто вспоминать.

Таким образом в Верхоянск Войнаральский явился и по закону и в действительности на правах холостого человека. Он сошелся с якуткой, бывшей у него в услужении, и, когда явились дети, женился на ней. Она была совершенно простая, неграмотная якутка, никогда не владевшая вполне русским языком. Превращение из купчихи снова в бедную якутку для нее было вероятно чувствительнее, чем для самого Войнаральского, но она безропотно несла свой крест. Положение семьи было тем труднее, что Войнаральский не чужд был склонности к выпивке и злоупотреблением спиртными напитками во время своего купеческого благосостояния несколько подорвал свое слабое вообще здоровье.

Ликвидировав торговлю, Войнаральский с семьею поселился в северной части Якутского округа на Алдане, где земледелие было очень слабо развито. Здесь он между прочим занялся кропотливым исследованием роста хлеба в этом холодном крае и поместил большую статью в журнал «Сельское Хозяйство и Лесоводство», издававшемся на средства министерства земледелия.

Когда по инициативе Клеменца, бывшего консерватором музея в Иркутске, сооружена была на средства Сибирякова научная экспедиция из ссыльных для изучения Якутского края и влияния золотопромышленности на быт якутов, Войнаральский отнесся отрицательно к постановке ее работ. Он предложил свой план организации экспедиции, не встретивший сочувствия, и наотрез отказался от всякого участия в ней. Из ближайших товарищей Войнаральского участие в экспедиции принял Ковалик, живший уже в то время в Иркутской губернии, в самом же Якутском округе работали на жалкие средства, ассигнованные на их долю, многие ссыльные из местных, а исследование отдаленного Колымского края приняли на себя Тан (Богораз) и Иохельсон.

В 1897 году Войнаральский получил право вернуться в Европейскую Россию. Сохранив бодрость духа во всех перипетиях своей ссыльной жизни, он оживлялся еще более при

мысли, что скоро увидит родину, где может снова все свои силы посвятить служению тому делу, от которого был насильно оторван более 20 лет назад. Он между прочим мечтал и о совместной работе с любимой дочерью, теперь взрослой девушкой.

Последующий короткий период жизни Войнаральского был полон трагизма. Уезжая из Якутска по недостатку средств один, он условился с женою относительно последующего выезда ее с детьми и о встрече с ними в известном месте; сам же он тем временем должен был добыть для нее денег и для сокращения расходов совершить путь волоком с Лены на Ангару, минуя Иркутск. Не получив ответа от жены на посланную телеграмму, он некоторое время поджидал ее на волоке и так как навигация скоро должна была прекратиться, отправился один водою в Красноярск. Только здесь он узнал о смерти жены и о том, что добрые люди везут двух его детей — остальных двух (младших) он, еще будучи в Якутске, отдал якутам на воспитание. Не падая духом, Войнаральский продолжал свое путешествие с прежней верой в свои силы. В России он совершил революционное турнэ по главнейшим городам, собирал молодежь, старался вдохнуть в нее начинавшую оскудевать по его мнению веру в революцию и надеялся связать в более крепкую организацию разрозненные революционные кружки. Молодежь вообще хорошо принимала старика, сохранившего пыл юности, но он встретил противодействие своим планам со стороны социал-демократов, этой новой силы, которую он еще мало знал. Он верил, что ему удастся преодолеть это противодействие и удваивал усилия.

Дни его однако уже были сочтены. Организм его, надорванный в ссылке, не мог долго выдерживать того страшного напряжения духовных сил, в котором он находился все время своего путешествия по России. Сильное нервное возбуждение лишило его сна и добило его слабое здоровье. Не успев окончить своего об'езда, он скоропостижно скончался в г. Купянске Харьковской губернии на руках своей старой знакомой по ссылке Марии Ипполитовны Легкой, урожденной Тихоцкой.

Двое детей Войнаральского, сын и дочь, привезены были в Россию уже после смерти Войнаральского и помещены на воспитание в известную интеллигентную колонию на Кавказе.

Дочь свою от первой жены Войнаральскому не удалось увидеть. Семья, которая ее воспитала, принадлежала к другому лагерю и встретила Войнаральского очень холодно.

Дочь также не проявила никакого интереса видеть своего отца. Он затаил эту жестокую обиду в своем сердце и еще с большим одушевлением принялся за начатое дело.

Дмитрий Михайлович Рочагев—Митька, как его часто называли, получил военное образование; окончив артиллерийское училище, он был произведен в офицеры и служил в артиллерии, как и младший его брат, повешенный в 84-м году. В 1873 г. он был уже в отставке. Будучи уроженцем Орловской губернии, он некоторое время после выхода своего в отставку вращался между орловскою молодежью и познакомился между прочим с молодою нигилисткою Верою Павловною Карповою, подчинившейся его умственному влиянию. Чтобы освободить ее от власти родителей, он, как упомянуто выше, вступил с нею в фиктивный брак, после чего каждый·из супругов пошел своею дорогою.

Рогачев получил революционную закваску еще в училище, вместе с Кравчинским, Шишко и др. Ко времени начала движения 70 годов он уже выработал свое миросозерцание и был убежденным революционером-народником. Через Кравчинского он был в близких отношениях с чайковцами, но в кружок их не был принят.

Рогачев не имел крупного организаторского таланта, но был выдающимся работником. Влияя на окружающую его молодежь, он всегда оставался первым между равными, не претендуя на какую-нибудь исключительную роль. Агитатором, в строгом смысле слова, он не был, но имел талант проповедника и популяризатора. Никто лучше его не мог доказать учащейся и стремящейся к самообразованию молодежи полную непригодность официальной науки для настоящего, не игрушечного только дела. Подбором доказательств, расположенных в известной системе, он в течение нескольких вечеров приводил своих собеседников к признанию, что никакая легальная деятельность невозможна в России при существующих условиях, тем же, кого не убедила живая речь, он предлагал продолжать свое самообразование чтением книг в порядке составленного им систематического каталога.

Революционная деятельность Рогачева имела перемежающийся характер. Потолкавшись в интеллигентных кружках, он отправлялся для пропаганды в народ и после более или менее продолжительных путешествий снова возвращался в города. Здесь он как бы отдыхал и набирался сил для дальнейшей работы в народе.

Рогачев появлялся во многих кружках в Петербурге, посещал вместе с Кравчинским московские собрания молодежи, принимал деятельное участие вместе с Войнаральским в Пензенском, Тамбовском и Саратовском кружках. В Саратове он чуть не был захвачен врасплох во время сна в квартире учителя, но в то время, когда жандармы входили для обыска в дверь, он успел выскочить в окно (вместе с Коваликом и Фа-

ресовым) без шапки и сапог. В таком виде он мог найти себе приют только в доме терпимости, одинаково открытом и для верноподанных и для революционеров.

Еще более, чем в среде интеллигенции, Рогачев работал в народе. Обладая хорошим здоровьем и крупной силой, он не только не отказывался, но искал физической работы. Вместе с Кравчинским он работал в ноябре 1873 года в Тульской губернии в качестве пильщика. Здесь оба они были арестованы, но им удалось бежать. После этого Рогачев бурлачил по Волге. В течение почти двух лет он успел перебывать во многих местностях и знал народ в совершенстве. Открытое симпатичное лицо и сердечность, с которой он относился к каждому встретившемуся на его пути человеку, привлекали к нему слушателей. Они не подозревали, что видят перед собой человека другого класса — дворянина и интеллигента — и относились к нему с полным доверием. Рогачев никогда не жаловался на неудачи в народе.

Во время своих странствований Рогачев был несколько раз арестован сельскою полициею, но успевал благополучно убегать. О побегах его создались настоящие легенды, и имя его было одним из самых популярных среди интеллигентной молодежи. Правительству, наконец, удалось арестовать его в 1876 г. и прочно засадить в тюрьму.

Жизнь его в заключении протекала так же, как и всех других арестованных. В централке он вместе с Муравским, жизнь которого описана раньше, поддался религиозному настроению. Под влиянием ли этого настроения или вследствие некоторого расстройства нервов, в нем замечалась небольшая, впрочем, физическая вялость, которая быстро прошла с переездом в Мценск. Здесь он исцелился от всех своих недугов. Он был первым силачем в тюрьме и уступал только своему брату, приезжавшему к нему для свиданий.

На Кару он явился бодрый физически и нравственно. Как краткосрочный он не думал о побеге, но в качестве добровольца принимал участие в подземных работах, начатых задолго до его приезда с целью подготовить массовый побег. По своей выдающейся силе он неизбежно должен был принять участие в перенесении из тюрьмы в мастерскую кровати, в ящике которой был спрятан Мышкин, совершивший первый побег из политической Кары.

После того, как администрация открыла исчезновение Мышкина и товарищей, в тюрьму проникли слухи, что начальство готовит погром, долженствующий уничтожить все завоеванные после продолжительной борьбы права полусвободной карийской республики. Ожидание погрома вызвало необыкновенное оживление среди каторжан. Решено было сопротив-

ляться до последней крайности. Рогачев был избран главнокомандующим. Он организовал своего рода боевую дружину, без оружия только, которая должна была забаррикадировать все входы и не впускать неприятеля. Начальство однако перехитрило каторжан. Не появляясь в течение нескольких дней в тюрьме, оно успокоило или вернее усыпило ее обитателей, и затем ночью, когда все спали крепким сном, нагрянуло с массою вооруженных солдат. Каторжане без сопротивления сдались в плен и были разведены по разным тюрьмам-клоповникам, где всячески издевались над заключенными [1]. Режим, установившийся в этих клоповниках, продолжался и в общей тюрьме, по переселении туда арестантов. Тюрьма была вынуждена об'явить голодовку [2], которая продолжалась 13 дней и не достигла серьезных результатов.

При распределении домашних работ между заключенными Рогачев обыкновенно выбирал самые тяжелые из них. Однажды, после мытья полов, он простудился, получив воспаление легких, и умер в цвете сил. Это было во второй половине 80-х годов.

По натуре своей Рогачев был идеалист. Он даже во время наибольшего увлечения революционной деятельностью не мог оторвать своей мысли от вопросов этики и в часы досуга продолжал мечтать о нравственном самоусовершенствовании. В этих мечтах он забывал лишения, которые испытывал в своих не всегда легких странствованиях в народе. Идеалистом он остался до конца жизни и сошел в могилу окруженный любовью товарищей.

Ипполит Никитич Мышкин уже известен читателям русских журналов по нескольким очеркам, посвященным ему, поэтому я не имею намерения сообщать о нем полные биографические сведения и коснусь главным образом тех обстоятельств его жизни, которые известны мало или совсем неизвестны. Поэтому же я обойду молчанием и его знаменитую попытку к похищению Чернышевского из вилюйской тюрьмы.

Мышкин прошел суровую школу кантонистов и собственным трудом проложил себе дорогу к жизни. Развитием своим он также обязан исключительно самому себе; ремесло его — он был правительственным стенографом при окружном суде,—

[1] Карийцы сдались не без сопротивления, произошло побоище и расправа под руководством губернатора Ильяшевича, за что потом Кутитонская, выйдя на поселение с каторги, стреляла в Ильяшевича, была приговорена к смертной казни. По ходатайству самого Ильяшевича, смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. *Прим. С. Н. Ковальской.*

[2] Войнаральский не считал ее целесообразною и вместе с меньшинством не участвовал в ней.

только в некоторой степени могло облегчить процесс его развития.

Во время своей революционной деятельности Мышкин был известен только немногим, соприкасавшимся с ним по делу лицам. Кипучая энергия, с которой он брался за всякое дело, еще не успела создать ему широкой популярности. Он никогда не был главарем движения и не мог им быть по своему характеру. Ораторские его способности до суда не имели случая проявиться, и никто из самых близких к нему людей не подозревал, какой крупный талант таится в нем. Собственно говоря, он только два раза в своей жизни выступал перед публикой в качестве оратора: первый раз на суде, когда он, несмотря на постоянные перерывы председателя, не только сумел высказать все то, что хотел, но и успел мастерски охарактеризовать в нескольких словах революционное движение 70-х годов. Собственно с этой речи и начинается популярность Мышкина. Суд по своему засвидетельствовал ему свое уважение, отнеся его к числу самых главных организаторов движения. Второй раз он сказал прочувственное слово в Иркутской тюремной церкви при отпевании Дмоховского, товарища Долгушина. Об этой речи рассказал М. Р. Попов в «Былом». Оратор не может существовать без толпы. Мышкина могла вдохновить только толпа, в частных же разговорах он был довольно вялым собеседником, подыскивающим надлежащие слова и чуть-чуть не заикающимся. Мышкин-собеседник и Мышкин-оратор, казалось, были двумя противоположностями.

Точно также, но в другом отношении, Мышкин преображался под влиянием охватившей его идеи. Самая обыкновенная «идея», которая не дает покоя арестанту, — это побег. В обыкновенное время, когда ум Мышкина не был занят выношенным в уединении планом побега, он представлялся нервным человеком, способным по ничтожному поводу совершить самый рискованный для него шаг. В это время он казался начальству самым опасным и вредным агитатором и неблагонадежным человеком. Но как только в голове его слагался план, он становился неузнаваем. Спокойствие его, казалось, нельзя было ничем нарушить, общественно-тюремные дела переставали его занимать и в случаях конфликтов с администрацией он старался держаться примирительной политики, а до конфликтов пытался предупредить их. В это время между арестантами трудно было найти другого такого благонадежного человека, как Мышкин; друзья Мышкина сразу догадывались, что это за благонадежность.

Так как Мышкин не принадлежал к привилегированным сословиям, то приговор о нем суда подлежал немедленному исполнению, и он вскоре действительно был увезен в Печенежскую

централку, где уже сидело 20 человек. При отсутствии всяких сношений с волей, арестант, одетый в казенную куртку, с бритой головой и кандалами на ногах и не имеющий при себе никаких инструментов, казалось, не мог даже помышлять о побеге. Но Мышкин, ориентировавшись в централке, сделался «благонадежным», следовательно, он нашел план. Ему удалось где-то раздобыть гвоздь, он имел в распоряжении своем половую щетку и в переплетной мастерской, где каторжане под надзором стражника могли работать по одиночке, скрал кусок коленкору. Гвоздем он вскрыл половицу и пользовался им же для подкопа, из щетки сделал себе парик, а из коленкору сшил костюм, хотя не франтовской, но не похожий на арестантский. Долго он работал, пока довел подкоп до наружной стены своей одиночной камеры. Ему оставалось пройти еще один или два аршина и он мог выскочить на тюремный двор, войти незамеченным в тюремную церковь, а оттуда без дальнейших приключений выйти за тюремную ограду. Так, по крайней мере, казалось Мышкину. Но план его рухнул, не доведенный до конца. Надзиратель, заглянув в волчок (стеклышко в двери), заметил отсутствие Мышкина в камере и, войдя, нашел его на месте преступления — он оканчивал подкоп.

По пути в Сибирь Мышкин составил план побега с этапа, но сам не пожелал им воспользоваться и выпустил товарища по путешествию, «Ваничку» Мартыновского, для себя же выжидал другого благоприятного случая, который представился ему однако только на Каре. Здесь, посоветовавшись с более близкими ему товарищами, он решил бежать, не считаясь с тем, что в тюрьме в двух камерах велись общественные подкопы, через которые предполагалось в более или менее отдаленном будущем совершить массовый выход из тюрьмы. Зачем, вполне справедливо рассуждал Мышкин, ожидать неизвестно сколько времени выполнения сомнительного плана побега, когда можно было наверняка бежать сейчас? Кроме того вслед за ним и другие могли воспользоваться, как это потом и случилось, его планом. Мышкин был вынесен в мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, в кровати, требующей яко бы починки, Рогачевым и Коваликом, и остался незамеченный конвоем. Спутник его Хрущов просто запутал счет, который вели конвойные по числу приходящих в мастерскую, и тоже остался в ней. Ночью оба скрылись и были арестованы спустя месяц во Владивостоке.

Дальнейшая судьба Мышкина известна: он, как и многие другие, нашел преждевременную могилу в Шлиссельбурге.

Выше было упомянуто о нервности Мышкина. Под влиянием неблагоприятных условий она доходила иногда до такой степени, что его можно было признать психически расстроен-

ным. Когда он дал пощечину смотрителю Печенежской тюрьмы, само начальство признало его действовавшим в невменяемом состоянии и, не совершая над ним никакой расправы, ограничилось тем, что перевело его в Андреевскую тюрьму, где он попал в лучшие условия и скоро оправился. Здесь он пользовался обществом Рогачева, Ковалика, Войнаральского и Сажина, с которыми имел общие прогулки и вскоре вместе со всеми отправлен в Мценск, где окончательно поправил свое здоровье.

Насколько Мышкин был близок к психическому расстройству, это в настоящее время трудно сказать. С одной стороны существуют уравновешенные люди, которые считают ненормальным всякого, кто во имя идеи отказывается от доступных ему благ жизни и идет на верную смерть. С этой точки зрения Мышкин был самым ненормальным. С другой стороны во время продолжительной своей жизни в среде товарищей в Мценске и на Каре он ни разу не обнаружил такой нервности, которая сколько нибудь напоминала бы психическое расстройство. Не будучи психиатром, я на основании своих наблюдений пришел к заключению, что самый надежный признак, по которому можно узнать психически расстроенного человека, это когда он, без вполне достаточных оснований, притворяется сумасшедшим. Мышкин однажды в своей тюремной жизни симулировал сумасшедшего, но я не знаю степени основательности причин, по которым он делал это. Из его рассказов мне показалось, что вполне достаточных причин для симуляции не было. Но так это или нет, во всяком случае многие могут засвидетельствовать, что после выхода своего из централки Мышкин был вполне здоров, как телом, так и духом.

В семидесятых годах в кругах молодежи пользовался сравнительно большой, хотя и не всегда положительной (в смысле одобрения его миросозерцания) популярностью человек уже не первой молодости — Маликов. Он без всякого сомнения принадлежал к прогрессивному направлению, был в такой же степени, как все передовое общество, народником, но тем не менее не только не пошел нога в ногу с начинающимся движением, но пытался повернуть его на другой путь.

В 1873 г. Маликов получил откровение, что истинная религия есть бого-человеческая. Каждый человек есть бог, поэтому в ближних мы должны любить и почитать божеское достоинство. Боги должны оставить старые греховные пути и вести человечество вперед только словом убеждения, при полном непротивлении злу. С таким учением Маликов выступил в самый разгар революционного движения.

Все условия, кроме главного, а именно революционного настроения молодежи, казалось, благоприятствовали распространению учения Маликова. Оно затрагивало самые возвышенные струны человеческого сердца и имело своим апостолом такого даровитого оратора и известного человека как Маликов. Он раньше пострадал за убеждения и в описываемое время проживал в Орле. В том же городе жил якобинец Зайчневский, отбывший каторгу в 60-х годах. Ограничивая свою задачу только некоторым революционизированием молодежи, он подробно не развертывал своего якобинского миросозерцания, и лишь вносил свои поправки в решения важнейших вопросов того времени. Русская молодежь никогда не могла понять якобинизма, поэтому Зайчневский был для Маликова мало опасным конкурентом. Молодежь толпилась около Маликова, такого же как и она народника, с которым у нее были общие симпатии и антипатии. К нему приезжали интеллигенты, не только посторонние движению, но и пристроившиеся уже к революции — словом все те, в сердце которых копошился еще червь сомнения. Около Маликова стал собираться кружок последователей, среди которых наиболее заметны были члены кружка артиллеристов Теплов и Аитов, сестра литератора Пругавина и др. Вслед за ними в новую религию уверовал известный революционный деятель Чайковский. Дело, казалось, начинало принимать серьезный оборот. Кроме настоящих последователей Маликова, можно было встретить в разных кружках лиц, более или менее ему сочувствующих. Когда все это стало известным в широких кругах молодежи, революционеры пришли в некоторое беспокойство и поняли, что необходимо оказать какое-нибудь сопротивление нарождающемуся учению. Большая часть ограничивалась впрочем полемикою с сочуствующими Маликову, а некоторые, и в числе их Клеменц, ездили в Орел, чтобы на месте оценить опасность, и там естественно устраивались в присутствии верующих и молодежи вообще диспуты с Маликовым. Диспуты в большинстве случаев оставались безрезультатны; по мнению присутствующих логика была на стороне революционеров, но сочувствие большинства на стороне Маликова.

Беспокойство революционеров в сущности не имело твердой почвы. При внимательном отношении к вопросу нельзя было не видеть, что все новое учение держится только талантом Маликова. В самом деле, если Маликов и приобретал много прозелитов, то его последователи не приобрели ни одного.

Переход Маликова с оппозиционного пути на почву непротивления злу не избавил его от преследований со стороны жандармов. Он был арестован и пристегнут к дознанию по

политическому делу, закончившемуся процессом 193-х. Обаяние личности Маликова и его широкая известность привлекли на допрос его много жандармов и прокуроров. Тут же присутствовал и сам генерал Слезкин, в руках которого было сосредоточено все дознание.

Спрошенный о виновности, Маликов сначала отвечал вяло, но мало-по-малу вдохновился и в блестящей речи развил основы своего учения. В середине речи генерал махнул рукой и сказал своим подчиненным, что Маликова можно выпустить. Так практик сыскного дела оценил значение новой религии, проповедью которой последователи ее думали обновить мир.

Через некоторое время после своего освобождения Маликов вместе с Чайковским отправились в Америку и основали там общину, которая просуществовала недолго. Оба апостола возвратились, Маликов в Россию, а Чайковский в Западную Европу. Дальнейшие подробности о Маликове можно найти в посвященной его памяти статье Фаресова.

Кроме очерченных выше лиц, движение 70-х годов выдвинуло много других, оставивших свой след в истории революционного движения в России. К этой категории принадлежат: Натансон, Кравчинский, Сажин, Клеменц, Брешковская, Ковалик и много других; из них Кравчинский уже известен русской публике, а остальные находятся еще в живых и производить оценку их я считаю преждевременным, тем более, что некоторые могут принимать участие в современном освободительном движении.

В заключение замечу, что как бы ни была велика роль всех лиц, упомянутых выше, они не могут быть признаны творцами, или, как полагал суд, зачинщиками движения. Только люди старой исторической школы и чиновники, воспитанные бюрократией, всегда неподготовленной к пониманию новых явлений жизни, могут считать крупные стихийные движения результатом замысла и агитации нескольких отдельных лиц.

IX.

Дальнейшая характеристика движения. — Народничество.

Познакомивши читателя с наличными силами движения, продолжаю его характеристику, уже данную в общих чертах в IV главе.

Подготовительный период движения продолжался с осени 1873 до весны 1874 года. В этот короткий промежуток времени — полгода с небольшим — движение постоянно изменяло свою форму, поэтому для более ясного его понимания необходимо подразделить подготовительный период на три части: 1) чисто народническое движение; 2) постепенное революционизирование движения и выработка программ и 3) окончательная организация движения и переход на путь практической деятельности.

Само собою разумеется, что в действительности не могло быть такого резкого разграничения промежуточных ступеней движения, какое дано в предыдущей схеме. В течение всего подготовительного периода можно было одновременно наблюдать и народничество, и выработку программ, и организацию, но в каждое данное время преобладали те или другие характерные черты, оправдывающие предлагаемое подразделение.

Выше было показано, что передовая часть общества семидесятых годов была склонна к народничеству. Молодежъ, идущая всегда в самых передних рядах общества, должна была тем более воспринять народническое миросозерцание. Сильно возбужденный интерес к народу убивал и без того слабый в то время интерес к политике. К чему конституция и разные политические свободы, если народ голодает? При существовавших условиях жизни молодежь не могла воспитать в себе политических интересов. Цензура не давала прессе останавливаться на фактах, вызывавших стремление к политической борьбе. Газеты были распространены весьма слабо, отличались сухостью и наводили скуку, поэтому мало чита-

лись молодежью. Она не хотела знать того, что в жизни Европы политический вопрос ставился ранее или одновременно с социальным, и мечтала только о разрешении последнего. Она с большим интересом изучала теории Оуэна, Сен-Симона, Фурье и др. и вообще склонялась к утопическому социализму, полагая, что он восторжествует, как только люди поймут его. Особенную цену в глазах молодежи приобрели чистые социалистические идеи, без примеси политики, во время затишья между нечаевским делом и движением семидесятых годов. Хорошей иллюстрацией в этом отношении может служить образовавшийся в 1871 году довольно большой американский кружок, который предпочел социализм даже народничеству. Кружок понимал, что при существующих политических условиях он не может работать для своего народа и потому решил начать обновление человечества устройством коммуны в свободной Америке. Как только началось движение, открывшее перспективы деятельности в среде русского народа, все до одного члены кружка присоединились к движению и в Америку не поехали. В описываемое время были в большом ходу коммуны — общежития и артели, более или менее социалистического характера... Примером могут служить студенческие коммуны и Петербургская сапожная артель, устроенная передовою женщиною Смиттен; из этой артели взят был Войнаральским член ее Пельконен для заведывания мастерской в Саратове. Молодежь находила в социализме единственное утешение в той пустоте жизни и мысли, которая была делом государственной мудрости наших правителей.

С началом движения прежде всего оживились народнические тенденции молодежи. В ее миросозерцании народничество стало занимать центральное место. Молодежь уже начинала смутно сознавать, что все старое миросозерцание должно быть перестроено, но пока ограничивалась тем, что подчеркивала свое народничество. Сильная вера требует дел, без которых она рискует остаться мертвой. Народнические тенденции, достигнув известной интенсивности, также требовали поступков, перехода от слов к делу. Слово — об уплате долга народу — было уже давно произнесено учителем молодежи, П. Л. Лавровым и глубоко запало в ее душу, но оставалось неясно, какое же именно нужно дело. Не имея готовых политических идеалов, которые могли бы послужить критерием при решении этого вопроса, молодежь могла обратиться за помощью только к этике, к идеалу нравственному. Прежде всего человек должен быть честен, сказала она себе; нельзя пользоваться тем, что не составляет достояния всех людей. Поэтому долой всякое привилегированное положение. Требование это обсуждалось с самых различных точек зрения. В душе ка-

ждого молодого человека в той или другой форме возникал вопрос, имеет ли он, как нравственное существо, право, и в какой степени, пользоваться унаследованными от предков преимуществами богатства, культуры и образования. Приподнятое настроение подсказывало самые радикальные решения. Каблиц, как было упомянуто выше, накопление знаний считал столь же безнравственным, как и накопление в частных руках капиталов. Вопросы о знаниях и культуре не всеми разрешались так радикально, но в отношении материальных благ не было двух мнений. Никто не имеет права пользоваться этими благами в большей степени, чем народ или представитель его, рабочий — вот единогласное мнение передовой молодежи того времени. Но такое общее решение не удовлетворяло многих. Им казалось, что необходимо установить точную норму потребностей интеллигента-народника, и по этому вопросу созывался ряд собраний. Выступавшие ораторы подвергали подробному рассмотрению каждую человеческую потребность и искали той законной меры, в какой она могла быть удовлетворяема. Возникали даже вопросы, честно ли есть мясо, когда народ питается вообще растительною пищею. После самого детального обсуждения всех мелочей большинство склонялось к признанию, что интеллигент имеет право на удовлетворение своих потребностей в той мере, в какой их удовлетворяет простой чернорабочий или вообще получающий наименьшую заработную плату. Что требовалось от интеллигента, то почему-то не было обязательно для рабочего, получающего более высокое вознаграждение за свой квалифицированный труд и питающегося нередко лучше, чем бедный студент. Такой рабочий оставался честным, тогда как интеллигент, имеющий равные с ним потребности, заслуживал упреков. Очевидно нравственное учение не в состоянии решить тех вопросов жизни, которые связаны с данными формами общественного строя. — Там, где этика оказалась бессильной, молодежь прибегала к помощи народнических идеалов. Народ она знала в большинстве случаев только по книжкам и потому страшно его идеализировала. Крайние народники были даже уверены, что народ сам укажет интеллигенту, желающему слиться с ним, что он должен делать и куда направить свои силы. Менее крайние чувствовали, что у них должна быть кое какая программа для работы среди народа, но не могли удачно сформулировать ее. Для этого им нужна была помощь более опытных людей, знавших действительные нужды народа и возможные способы деятельности в его среде. Такие люди и явились в лице отдельных радикалов-революционеров и членов радикальных кружков, уже усвоивших или по меньшей мере начинавших усваивать революционные учения Лаврова и Бакунина. Под их влия-

нием сходки оживились и стали чуть ли не ежедневным явлением. Несмотря на самый мирный повидимому характер сходок, на них велась борьба двух направлений — одного чисто народнического и другого революционного, но еще недостаточно определившегося. Борьба эта во многих отношениях напоминала борьбу западников и славянофилов в шестидесятых годах.

Народническая молодежь в сущности не имела ничего общего с отжившими славянофилами, но у нее была одна черта, свойственная также и славянофилам: она обожала свой народ и от него и только от него ожидала нового откровения. Подобно славянофилам, она также не знала, что именно она должна делать в народе. При таком поверхностном обсуждении этого вопроса мысль невольно наталкивалась на препятствия, которые ставит правительство всякой просветительной работе в народе. Естественно возникал вопрос, возможна ли какая-нибудь правильная деятельность в полицейской вотчине, именовавшейся Российским государством. Народники, не будучи в состоянии справиться с этим вопросом, закрывали на него глаза и надеялись, что вера их в народ подскажет им, что именно следует делать. Революционеры явились в среду народнической молодежи с самой широкой формулой отрицания. Весь существующий строй, как экономический, так и политический, говорили они, никуда не годен, и потому единственно возможная деятельность в народе и вместе с народом это окончательное, вплоть до самого основания, разрушение этого отжившего строя. Революционеры в своих проповедях являлись до некоторой степени тем же, чем были западники в 60 годах — учение свое они получили с запада и должны были вести борьбу с самобытностью народников — этих новых славянофилов.

При всем различии основных точек зрения у борющихся сторон, их сближала безграничная любовь к народу, подсказывавшая им иногда одинаковые или почти одинаковые мнения. Некоторые, а может быть и большинство революционеров, как Лавровского, так и Бакунинского направлений, верило, что русский народ, сохранивший один, несмотря на все исторические превратности своей судьбы, общину и не испытавший вредных последствий капитализма, увидит первый осуществление на земле социализма. Здесь следует, впрочем, оговориться, что Лавровцы и тем более Бакунисты не считали общину панацеей, защищающей народ от всех бед, и только полагали, что через общину легче осуществить социалистический строй, чем без нее. Эти упования революционеров на русский народ настолько сближали их с народниками, что казалось шла не борьба, а взаимное согласование направлений чисто-народнического и революционного.

Победа, между тем, более и более склонялась на сторону революционеров и была в конце концов не менее решительна, чем западников над славянофилами. Но между этими двумя победами существует и крупная разница. Побежденные новыми западниками народники вошли полноправными членами в кружки победителей и окончательно с ними слились, славянофилы же 60-х годов, выбитые из своих позиций, чаще всего становились реакционерами и продолжали борьбу с передовыми западниками уже на другом фронте.

Во многих случаях можно наблюдать, что чем дальше мы от ходячих мнений, тем ближе к истине. Ходячее мнение по отношению к движению 70-х годов, хотя и не достаточно определилось, но склоняется к тому, что это было скорее мирное, чем революционное движение чисто-народнического характера. Ошибочность этого мнения происходит от смешения двух моментов. Движение, революционное по существу, имело чисто народническую форму. Студенты и гимназисты бросали европейские костюмы, одевались в поддевки и шли в народ; отсюда ходячее мнение заключало, что и существо движения народническое. Некоторые пошли далее и утверждали, что революционеры 70-х годов боролись не только за интересы народа, но и за его мнения. В данном случае смешиваются две фазы движения. Каким образом анархист, напр., мог подчиняться мнениям народа, если он, прежде всякого знакомства с народом, усвоил, как непреложный догмат, космополитическое учение об анархии, как о самом совершенном строе общества, и шел в народ с программою, выработанною секцией Юрской федерации, русскою только по имени. Пален в своей секретной записке о революционной пропаганде, распространившейся в тридцати слишком губерниях, был ближе к истине, признавая за движением революционный характер.

X.

Революционизирование движения и выработка программ.

Победа революционного направления, о котором сказано выше, еще не была завершена вполне к концу народнического периода движения. Часть молодежи еще не была вполне убеждена в правильности точки зрения революционеров. Проповедь непрерываемой борьбы с государственною властью на первый раз ошеломила эту часть молодежи и ей нужно было время, чтобы переварить слышанное. Это время она и получила в самом начале рассматриваемого в настоящей главе периода, когда продолжались начатые еще в предыдущем периоде рассуждения об устройстве мастерских. Рассуждения эти не вызывали резкого столкновения мнений. Все в принципе были согласны в том, что прежде чем итти в народ, необходимо изучить какое-нибудь ремесло и привыкнуть к физическому труду. Некоторые разногласия встречались впрочем и при разговорах на эту тему. Не вполне еще отказавшиеся от чистого народничества молодые люди смотрели на дело с этической точки зрения: только при знании ремесла можно жить совершенно самостоятельно, не ложась в конечном подсчете на шею народа. Революционеры же видели в знании ремесла, главным образом, средство сойтись с народом, не вызывая в нем подозрений в каком-либо злом умысле.

Выше была отмечена тенденция народнической молодежи решать простые вопросы слишком по кабинетному, как это было, например, при установлении меню интеллигента, уплачивающего свой долг народу. При обсуждении вопроса о ремесле случилось нечто подобное. Признание ремесла обязательным для каждого интеллигента без исключения, независимо ни от его индивидуальных качеств, ни от степени его здоровья, вызвало толки о том, какое ремесло менее всего вредит здоровью и потому наиболее пригодно для интеллигентов. Этому вопросу посвящена была почти целая сходка. Одни высказыва-

лись за кузнечество, другие за сапожное мастерство и т. д., пока один агитатор не сорвал вопроса, заметив, что самое вредное ремесло революционное, потому что влечет за собою каторгу и виселицу

После более или менее продолжительных рассуждений, кружки приступили к устройству мастерских или обучению ремеслам на дому. В Петербурге была устроена слесарная мастерская артиллеристами при участии чайковцев. Москва не отстала от Петербурга. Дебогорий-Мокриевич обучал товарищей сапожному делу на частной квартире и т. д.

Мастерские усердно посещались интеллигентами, не только своего, но и чужих кружков. Молодежь хотела, как можно скорее, завоевать себе право на физический труд, которое она, казалось, приобретала изучением ремесла. Впрочем, мастерские имели обыкновенно и другое назначение: они служили центром для пропаганды и агитации. В мастерской артиллеристов перебывала масса народа и несомненно часть его получила в ней свое революционное воспитание.

Устройством мастерских, задуманных еще народниками, была выполнена последняя, ясная для всех, часть их программы. Интеллигент, изучивший ремесло, мог уже считать себя рабочим, имеющим доступ во всякую народную среду. Далее сам собою возникал вопрос, что делать в народе, вопрос, на который народники не имели ответа. Поэтому выработка программ стала делом рук исключительно революционеров; чистое народническое направление в это время окончательно сходит со сцены. Если еще и оставались непреклонные народники, то они перестали появляться на сходках. Почти одновременно с чистыми народниками стали сходить со сцены Лавровцы [1]; теперь на сходках можно было встречать лишь отдельных представителей этого направления. Таким образом поле сражения осталось за революционерами, признавшими себя анархистами.

Не следует забывать, что как революционные идеи, так и временные лозунги движения вырабатывались в борьбе направлений или, по меньшей мере, мнений. Победившее мнение имело тем большее значение для широких кругов молодежи, чем сильнее была предшествовавшая ему борьба. Теперь, когда на очередь выступила разработка программы, борьба должна была происходить, главным образом, в пределах одного направления — анархического.

---

[1] Об этом рассказано в VI главе. Между Лавровцами и народниками было некоторое сходство, так что Лавровец часто бывает в то же время и народником. В предыдущем изложении я старался не смешивать их между собою, так как я имел целью охарактеризовать направления, а не лица.

Анархизм не делился на толки, так как все были согласны в понимании его основных положений. Но, по аналогии с французскими республиканцами, анархистов можно разделить на две категории: коренных и своего рода ralliés, т.-е. присоединившихся. Под первыми нужно понимать отдельных деятелей и кружки, с'организовавшиеся во имя анархии и бросившиеся в движение с целью пропаганды этого учения. Сюда, главным образом, относятся три петербургских и один киевский кружок (Мокриевича). В категорию вторых следует отнести все те кружки, которые усвоили анархию уже в то время, когда они имели свою радикальную или даже революционную программу и во имя ее работали. Сюда относятся, прежде всего, Чайковцы, а также и большинство старых кружков (напр., Одесский Волховского) или новых, состоявших под их влиянием (например, артиллеристы). Между этими двумя видами анархизма и началась борьба при выработке новой и общей для всех программы революционной деятельности.

Борьба, как и прежде, велась не с глазу на глаз, а перед лицом всего народа, т.-е. на сходках при участии всех желающих. Дело происходило обыкновенно таким образом: агитаторы из Бакунистов (коренных) и Чайковцев или других старых кружков приходили на собрание в какой-нибудь молодой кружок, который уже приобщился к движению, но не стал еще твердо на революционную почву. Ставился какой-нибудь частный вопрос программного характера и начинались горячие дебаты. Тут происходил, можно сказать, публичный турнир, имевший целью привлечение каждым из борющихся на свою сторону слушателей. Последние тоже участвовали в спорах, поддерживая то одну, то другую сторону.

Спорили о самых разнообразных предметах: о степени подготовленности интеллигенции для деятельности в народе, о форме этой деятельности, о значении агитации и пропаганды, о преимуществах летучей пропаганды, о степени революционности народа, о значении мелких бунтов, о роли в народе женщин-пропагандисток и т. д., наконец, даже о способе организации революционеров.

Последний вопрос был возбужден Рабиновичем, доказывавшим, что организация должна иметь характер строго-централистский [1], но он по молчаливому согласию борющихся сторон

---

[1] Вопреки тому, что принято думать, об анархистах, здесь кстати заметить, что Бакунин и его последователи признавали строгую централизацию наилучшей формой организации, которая только и могла быть противопоставлена сильной и тоже централистской организации современного государства. На первое время анархисты считали полезным, чтобы центральная организация не об'являла открыто о своем существовании, а составилась из самых влиятельных членов анархистских кружков.

скоро был снят с очереди. Молодежь, не имевшая никакой политической опытности и знавшая только отрицательные стороны генеральства, склонна была видеть в проповеди централизации и дисциплины замаскированное желание лишить ее свободы самоопределения — этого права, которое, казалось, должно принадлежать каждому развитому человеку, — и подчинить ее новым генералам. Что же касается других, перечисленных выше, вопросов, то они были предметом самого внимательного обсуждения и трактовались на многих сходках.

При обсуждении вышеупомянутых вопросов коренные анархисты стояли за такой способ их разрешения, который не препятствовал бы осуществлению немедленной и самой активной деятельности в народе. Они поэтому признавали, что молодежь, усвоившая анархическое учение, вполне готова для практической деятельности, что народ не только созрел для понимания пропагандируемых ему идей, но имеет в своей среде достаточное количество лиц, способных стать активными революционерами, что агитация поэтому имеет большее значение, чем пропаганда, что мелкие бунты, естественно вспыхивающие в крестьянстве, воспитывают революционные чувства в народе и подготовляют его к общему восстанию, что летучая пропаганда захватывает больший круг лиц и потому, в целях только пропаганды в народе нет надобности оседать крепко и надолго в определенных местах и т. д. «Присоединившиеся» придерживались вообще более умеренных взглядов и соблюдали большую осторожность в решении практических вопросов. В доказательство правильности своей точки зрения они ссылались на свой опыт, коренные же анархисты по их мнению мало знают народ, рассуждают больше по книжкам и прежде каких нибудь решительных действий должны потолкаться в народе и хорошенько его изучить.

Присоединившимся, особенно из среды Чайковцев, нельзя отказать ни в эрудиции, ни даже в талантах, но у них чувствовалась часто некоторая двойственность. У них было свое достаточно разработанное миросозерцание, в которое анархическое учение насильственно вторглось и заставило себя признать. Точно также у них были намечены и практические способы деятельности, которые теперь требовалось пересмотреть, чтобы согласовать с новым учением. Вследствие этого у них замечались некоторые колебания — оружие свое в борьбе они как бы держали не твердыми руками. Наоборот, коренные анархисты, считая себя апостолами нового учения, свободно, без всяких оглядок назад, развивали его до последних, хотя бы и самых крайних, выводов. В движении они все время играли роль крайней левой.

Молодежь, особенно во времена движений, не любит останавливаться на полдороге и следует за тем, кто доводит свою идею до логического конца. Она всегда рукоплещет решительному отрицанию старого и широким обобщениям, служащим основанием новому. Ее нельзя смутить сомнениями в осуществимости идеи в данное время — на эти сомнения она отвечает: приналяжем крепче и цель будет достигнута. Отсюда понятна победа революционеров над лавровцами и народниками. Этим же в значительной степени об'ясняется перевес сравнительно малочисленных коренных анархистов над присоединившимися. Перевес этот стал сказываться довольно рано. Бывало, что молодежь во время обсуждения какого-нибудь вопроса, соглашается с ораторами из присоединившихся, но потом на следующую сходку приходит со взглядами коренных анархистов. В большинстве сходок победа не склонялась ни на чью сторону, но тем не менее коренные анархисты усиливались. На нескольких сходках они терпели даже видимое поражение — это случалось тогда, когда по вопросу, касающемуся выяснения условий крестьянской жизни, от присоединившихся выступал оратор, бывавший в народе и умевший против теоретических положений своих противников удачно приводить конкретные факты. Но и эти случаи поражений не надолго задерживали распространение крайних анархических идей.

Само собою понятно, что деление анархистов на коренных и ralliés только приблизительное и даже схематическое. В старых кружках были также убежденные анархисты, смело идущие в своих выводах до логического конца. Первое место между такими анархистами занимает Кропоткин. Он, без сомнения, был тоже «коренной» но в период обсуждения программных вопросов, будучи занят пропагандою среди рабочих, мало появлялся на сходках. Другим убежденным анархистом был Чарушин, так же, как и Кропоткин, принадлежавший к кружку Чайковцев. Оба они в практических вопросах занимали большею частью серединную позицию между крайними и более осторожными анархистами. В решениях вопросов, они, конечно, не могли далеко отходить от своего кружка, но особенно Кропоткин вел анархическую пропаганду среди членов этого последнего. Еще ранее Кропоткин составил записку под заглавием «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя». Эта записка имеет анархический характер и в ней уже до известной степени виден будущий последовательный анархист. Вот содержание ее в том виде, как она изложена в обвинительном акте:

Доказав в целом ряде доводов непригодность всех существующих форм государственной жизни, автор предоставляет народу разрешение вопроса об идеале будущего строя. «Пе-

реходя затем к вопросу о том, каким образом народ может осуществить свой идеал, автор записки находит, что единственным для сего путем представляется насильственный социальный переворот, который не ограничился бы только ниспровержением государственности, но и уничтожил бы весь существующий социальный и экономический строй народной жизни: все мирные пути прогресса отвергаются в записке и признаются даже вредными. Для подготовления социальной революции в России необходимо образовать революционную организацию, основными положениями которой должно служить: полнейшее равенство всех ее членов, отсутствие всякого подчинения всех одному или нескольким лицам, отрицание обмана и насилия во взаимных отношениях и в то же время признание обмана и насилия[1] вполне разумными и необходимыми средствами в отношениях членов организации к правительственной власти и представителям капитала. Подготовительная деятельность революционной организации должна быть направлена главным образом на увеличение числа ее единомышленников в среде крестьянства и городских рабочих посредством деятельной пропаганды своих воззрений и усиления недовольства против правительства. Участие в революционной организации учащейся молодежи отвергается запиской. В организацию должны быть принимаемы только те представители упомянутой молодежи, которые, бросив науку, отправятся в народ для пропаганды, отрешившись от всей своей предыдущей жизни не только в принципе, но и во внешней форме, оставив все свои привычки и поставив себя вполне в положение рабочего. Люди из народа признаются автором записки наиболее надежными и полезными революционерами. Для подготовления таких деятелей агитаторы должны поселиться между крестьянами и вести оседлую пропаганду посредством сближения с народом[2]. Для приведения в известность результатов пропаганды и выработки дальнейших мер, в записке рекомендуется устройство периодических с'ездов агитаторов, а затем автор записки обращает особенное внимание на подготовку революционных деятелей из городских рабочих, которые, возвращаясь на родину, могут распространять между крестьянами социальные идеи, усвоенные от агитаторов. Кроме устной пропаганды, признанной наиболее целесообразною, автор допускает и пропаганду литературную, в видах которой организация должна озабо-

---

[1] Здесь составитель обвинительного акта, повидимому, не совсем точно излагает записку.

[2] Это не совсем ясно. Повидимому, речь идет о том, что для привлечения отдельных лиц из народа в революционную организацию, нельзя ограничиваться летучей пропагандой, а необходимо осесть в народе и сблизиться с этими лицами.

титься изготовлением и распространением в народе книг, в роде рассказов о сильных и выдающихся личностях из народа, картин безвыходности современного социального строя и т. п. Стачки рабочих и устройство артелей не одобряются автором, так как означенные меры в свою очередь служат средством к скоплению капиталов и в результате оказывают вредное влияние на народ. Местные волнения между рабочими (и крестьянами) и сопротивление властям признаются имеющими для народа «воспитательное» значение в смысле революционном, почему, не советуя агитаторам возбуждать (искусственно?) подобные явления, дабы не отвлекать ими народа от стремления к достижению главной цели — всеобщего восстания во имя коренного переворота — автор находит тем не менее полезным не препятствовать их развитию, если только они вызываются естественным путем. В заключение автор определяет отношения русской революционной организации к международной ассоциации рабочих и к русским эмигрантам, причем, заявляя полное сочувствие к деятельности секций федералистов и преимущественно ее русских представителей, вместе с тем отказывается от *полной*[1] (курсив обвинителя) солидарности со всеми партиями эмигрантов, признавая, что русская народная революционная партия должна самобытно развиться среди Русского Народа».

Записка предназначалась для Чайковцев, которыми и были приняты главнейшие ее положения. Пространные об'яснения автора по отношению к организации — полное равенство, отсутствие обмана и насилия — очевидно, вызваны боязнью, чтобы не повторились ошибки нечаевской организации. Казалось бы вместо всех этих азбучных истин достаточно было сказать, что организация должна составляться из людей, строго подобранных в умственном и нравственном отношениях. Отсутствие упоминания о дисциплине также характерно для описываемого времени. Все вопросы, затронутые запиской в том или другом виде, обсуждались на сходках. Окончательная программа, к которой на них приходили, по существу мало отличалась от предлагаемой в записке. Совет Кропоткина не заниматься рассмотрением будущего идеального строя следует понимать не в народническом смысле, требующем подчинения тому идеалу, который хранит народ, а в смысле бесцельности обсуждения деталей. Сам Кропоткин был убежденный анар-

---

[1] В пр грамме цюрихской секции содержится отрицание религии— атеизм. Ни Кропоткин, ни русская молодежь не считали целесообразным затрагивать религиозные чувства народа. Уже поэтому не могло быть и речи о полном согласии с федерацией, а не со всеми партиями эмигрантов, как формулирует обвинитель. Со всеми партиями никто не может согласиться.

хист и не отказался бы от своего убеждения, если бы его не разделял народ, напротив, он старался бы привести народ к признанию анархии идеалом будущего строя. На сходках молодежь пробовала выяснить себе разные детали анархического строя общества. Между прочим было потрачено много времени на выяснение вопроса, что делать с общиною, если она, пользуясь своею полною самостоятельностью, откажется присоединиться к какому-нибудь общему предприятию всех союзных общин, например, проведению через ее территорию железной дороги, и тем сделает невозможным самое предприятие. Вопросы этого рода выдвигались лицами, не принявшими еще окончательно анархического учения. Анархисты по мере возможности старались ответить на них, но ответы их в сущности сводились к тому, что если отдельные общины не идут ни на какие соглашения с союзом остальных общин, то, следовательно, общество еще не дозрело до полного осуществления анархии. Споры эти именно и показали на практике бесплодность рассмотрения подробностей будущего анархического строя. В конце концов молодежь приняла программу русской секции юрской федерации, выбросив из нее пункт об атеизме. Программа была приложена к книге «Государственность и анархия». Программа была краткая и не входила совершенно в неразрешимые теорией подробности.

Выше изображено, как разрешались разные практические вопросы в Петербурге и притом в главном русле анархического течения. Отдельные лица и даже кружки более или менее уклонялись от наиболее типичного способа их решения. Одни, как напр., Каблиц, уклонялись влево, доходя до апофеоза мелких крестьянских бунтов, другие, напротив, останавливались на более умеренных решениях, чем даже большинство присоединившихся. Приведу из обвинительного акта один из таких более правых взглядов по собственному показанию представителя их, Льва Городецкого.

Члены его кружка (Самарцев) «были того мнения, что революция в России должна произойти сама собою, в силу исторического хода вещей, вследствие чего считали своею задачею содействовать посредством устной и книжной пропаганды (об агитации ни слова!) сознанию народом идеала своего будущего устройства (конечно, анархии). Для осуществления такой задачи члены кружка решили итти в народ под видом простых рабочих, разыскивать недовольных настоящим положением вещей и действовать на них следующим образом: развивая и выясняя, устно или чтением, существующее уже недовольство, указывать на возможность выхода из настоящего тяжелого положения лишь при условии единодушного образа действий со стороны народа, в доказательство чего ссылаться

на бунты Стеньки Разина и Пугачева; затем из'яснять, что действуя совокупными силами всего народа, следует добиваться общинного землевладения, свободного перехода из одной общины в другую и самоуправления [1], а потому и уничтожения правительства и администрации; вопрос о существовании верховной власти предполагали не затрагивать, так как само собою подразумевалось, что таковая будет уничтожена в виду ее несомненного сопротивления требованиям народа. Каковою предполагалось устная пропаганда, таковою же должна была быть и книжная; самою пригодною для последней книгой признавалась «История одного французского крестьянина», а также считалось полезным распространять в народе рассказы в роде «Митюхи», «Дедушки Егора» и пр., как указывающие на вредное влияние эксплоатации на народ; книги же «Стенька Разин» и «Сборник новых песен и стихов» были признаны годными исключительно для лиц более или менее развитых, как-то: народных учителей, семинаристов и гимназистов [2].

При всяком решении практических вопросов, если и не высказывалось, то подразумевалось, что деятельность в народе возможна только для лиц, вполне ставших в положение рабочего или крестьянина. Это была аксиома, не вызывавшая никаких споров, признанная также и в записке Кропоткина. Революционеры, проповедывавшие народникам необходимость коренного разрушения существующего строя и неутомимую революционную борьбу, силою вещей должны были принять от народников эту аксиому. Только при условии выполнения ее требований, революционеры могли об'единить всю передовую молодежь и оставить заметный след в истории. Молодежь в первый раз выступила широким строем на подмостки истории и только рядом подвигов и актов самопожертвования могла запечатлеть в памяти следующих поколений факты и события из своей жизни и деятельности. Подвиг же был действительно велик: молодежь, чуть не поголовно, отказывалась от всех выгод своего привилегированного положения, бросала семью и школу и шла на бесконечные лишения, которые она, полуголодная и плохо одетая, должна была претерпевать в народе. Кто в состоянии измерить величину только одной жертвы — отказа от дальнейшего образования со стороны интеллигентного человека, готового считать знания превыше самой жизни? Оставляя в стороне действительные успехи, достигнутые вследствие превращения в рабочего или крестьянина, нельзя не кон-

---

[1] Это — неумелое изложение прокурора или самого Городецкого учения анархии о вольном союзе вольных общин снизу вверх.

[2] Изложенное здесь мнение о значении некоторых нелегальных книг принадлежит исключительно кружку Городецкого.

статировать полной целесообразности совершения этого подвига.

Сжигание кораблей, т.-е. добровольное оставление университетов и всяких высших и средних учебных заведений, соединенное с решимостью отказаться и от других выгод своего положения, началось чуть ли не с первых дней движения. В описываемый же период каждый день приносил известие, что такие-то молодые люди сожгли свои корабли. Рядом с этим все более и более усиливалось отрицательное отношение молодежи к интеллигенции. Кропоткин признавал учащихся и вообще интеллигентов, не превратившихся в рабочих, непригодными для организации, молодежь же шла дальше и считала их вообще никуда не годными. Ругательства по адресу интеллигенции раздавались так же часто, как во время расцвета марксизма. Само собою понятно, что порицания исходили из любви, а не из враждебного к интеллигенции чувства. Порицающая молодежь, быть может, сильнее любила интеллигенцию, чем славословящая ее часть, подобно тому, как более всего любит свое отечество самый резкий обличитель его недостатков, а не слащавый патриот.

Не столько разум, сколько какой-то инстинкт общественно-группового (или партийного) самосохранения вел молодежь к подвигам и самоотрицанию. Этот же инстинкт заставлял и высказываться при выборе профессии за самые низкие из них. Лавровцы считали наиболее удобными для пропагандиста из интеллигенции профессии врача, фельдшера, учителя и т. п. Часть анархистов также признавала эти профессии весьма удобными для пропагаторской и вообще революционной деятельности в народе, но большинство считало самой почтенной роль чернорабочего или в крайнем случае мастерового. Профессии, не соединенные с жертвами, мало привлекали молодежь.

При обсуждении способов деятельности в народе, молодежь неизбежно приходила к определению своего отношения к правительству. Она не могла не понимать, что всякая пропаганда или агитация непременно вызовет со стороны правительства противодействие и репрессии, и потому естественно приходила к выводу о необходимости уничтожения правительства, а до того о непрестанной борьбе с ним. Формы этой борьбы подробно не намечались, но неизбежность ее уже никем не отрицалась. Одно из популярнейших потом средств борьбы — террор — не признавалось исключительно по соображениям тактического характера. Отсюда очевидно, что идея политической борьбы не была чужда движению семидесятых годов. Чрезвычайно распространено мнение, что анархисты отрицают политику вообще, но это далеко не верно. Анархисты, действительно, относятся отрицательно к участию в легальной

политической деятельности, например, в парламентах, но могут ли они, стремясь к уничтожению государственных властей, не понимать значения политической борьбы? В неподлежащем опубликованию уставе[1] европейских анархических организаций, главою которых был Бакунин, содержался между прочим пункт, дозволяющий участие в политических выборах и парламенте, но не иначе, как с разрешения организации.

Многими цитатами из обвинительного акта можно было бы доказать, что вопрос о политической борьбе (нелегальной) возникал в отдельных кружках довольно рано. Даже мирный Говоруха, по словам обвинителя, собирался зарезать прокурора. Таким образом, движение семидесятых годов, начавшееся с отрицания политики, весьма скоро приходит к своеобразному признанию ее. Собственно говоря, о политике вообще не было речи, но политическая борьба признавалась одним из способов деятельности. Анархисты, допускавшие свое участие в мелких бунтах, производимых крестьянами, без всякого сомнения смотрели на это участие, как на один из видов политической борьбы.

Движение, начавшееся в семидесятых годах, продолжалось почти 10 лет. Программы несколько раз изменялись, но политика, или вернее, политическая борьба все более и более выдвигалась вперед. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить требовавшиеся программами: «Земли и Воли» дезорганизацию правительства и «Народной Воли» террор. Поэтому одной из заслуг движения 70-х годов следует признать воскрешение начавшей было замирать «политики» вообще и целесообразности политической борьбы в частности.

---

[1] Устав этот, выкраденный, по словам Бакунина, тремя русскими анархистами, не принадлежавшими к организации, был в извлечении напечатан ими в одной прокламации, заглавия которой я не помню, выпущенной к русской молодежи в 1873 году.

XI.

Окончательная подготовка к движению в народ.

Революционная молодежь единогласно признала весну самым благоприятным временем для начала революционной пропаганды в народе. По мере приближения весны 1874 года все более и более чувствовалась необходимость собраться с силами, чтобы на все лето двинуться в народ и приступить там к работе.

К началу этой третьей части подготовительного периода, к описанию которого я приступаю, еще не все из многочисленных петербургских кружков получили окончательную организацию. В них еще продолжали вращаться лица, еще не решившиеся теперь же приступить к практической деятельности. Такие лица стали постепенно отходить в сторону, когда увидели, что более решительные члены начали уже складывать свои чемоданы. Лавровцы, еще продолжавшие в период постоянных сходок проявлять свое существование, точно также стали быстро стушевываться. Время споров по вопросам теории и практики прошло и потому им нечего было делать среди готовящихся к походу анархистов. Связи лавровцев с анархистами настолько ослабели, что ни один из первых даже случайно не был привлечен к процессу 193-х. Некоторое число их привлекалось к дознанию, но как только выяснился характер движения, были до суда освобождены из тюрем или на всякий случай высланы административным порядком.

Одним из первых дел рассматриваемого периода было — определить окончательно отношение революционеров к тем кружкам землячества и самообразования, которые не приняли еще всецело их программы. Поэтому на последних собраниях этих кружков агитаторы ставили вопрос ребром и в результате происходило или присоединение колебавшихся к делу революции, или окончательный разрыв с ними.

Далее одним из самых существенных вопросов было привлечение в среду активных кружков сознательных рабочих.

Анархисты, как и Кропоткин, придавали большое значение подготовленным рабочим, не только во имя преклонения перед народом, но и как лучшим пропагандистам среди родственных им по духу, а часто и по плоти, крестьян.

Все коренные анархисты и более молодые из присоединившихся не успели по краткости времени приготовить необходимый им кадр сознательных рабочих, поэтому они должны были открыть свои об'ятия для тех из распропагандированных другими рабочими, которые почему либо не удовлетворялись своими развивателями. Наибольший контингент таких рабочих дал Низовкин. Ища более крайнего направления, некоторые из них охотно переходили к Чайковцам и к коренным анархистам. Из этих последних только кружок Каблица не заполучил к себе рабочих. Как ни сочувственно относились подготовленные рабочие к крайним направлениям, но они менее охотно, чем интеллигенция, признавали анархическое движение. Это учение не признавало никаких программ-минимум, рабочие же уже успели получить некоторый интерес к умственной работе. Им поэтому хотелось сохранить за собой такое положение, которое позволяло бы им в часы досуга продолжать свое развитие и удовлетворять своим умственным запросам. Занятие же пропагандою в деревне анархии и революции обещало лишить их всего этого. Указанное препятствие не было впрочем существенным — после более или менее продолжительных бесед устанавливалось какое-нибудь соглашение. Гораздо большее значение для достижения успехов среди рабочих имела разница в настроениях. Интеллигенция находилась в стадии сильного стихийного движения, когда обыкновенный смертный может совершать чудеса, рабочие же жили в обыкновенных условиях, и повышенного настроения среди них не замечалось. При таком положении дела интеллигент, обладающий сердцем, преисполненный самой сильной, религиозной верой в высоту предстоящей ему миссии сравнительно легко брал верх над маловерным рабочим, но союз их был в высшей степени непрочен. Под влиянием веры интеллигент готов был совершать подвиг за подвигом, а рабочий, если не проникался всецело такой же верой, скоро одумывался, особенно, если не получал новых импульсов. К тому же при спешности привлечения рабочих, не всегда обращалось должное внимание на их индивидуальные качества. Всем этим об'ясняются случаи разочарования со стороны революционеров в привлеченных ими к делу рабочих. Не следует, однако, преувеличивать количество этих случаев—рядом с ними были случаи продолжительной работы вновь посвященных совместно с революционерами. Некоторые из рабочих заслужили почетное имя и вспоминаются последующими поколениями, как герои. Но повествователь должен, прежде всего, быть правдивым, поэтому

укажу несколько случаев привлечения рабочих к делу революции, большая часть которых взята из обвинительного акта.

Член кружка Ковалика, Артамонов, в перехваченной записке писал о рабочем, для которого он, в целях пропаганды, устроил кузницу: «кузнец, Павел Григорьев, совсем подлец, мы с ним завели кузницу в деревне, и там уже работал один из наших... Я с Бачиным (тоже рабочим) кое о чем говорил в присутствии его (кузнеца), и обещал дать книги этому подлецу кузнецу, а также разыскать и вывезти заграницу Ивана М., ибо он ужасный трус[1], и, если его арестуют, то он все расскажет, а знает он многое; я ему помогал бежать из Питера и познакомил с другими (повидимому Коваликом и Войнаральским), которые теперь считаются (прокуратурою и жандармами, производящими дознание) вожаками всего, а для меня только не доставало, чтобы раскрыть связи с ними». Киевские анархисты имели в своей среде рабочего, от которого они не знали как отделаться и должны были давать ему крупные средства для жизни. Прокурор в обвинительном акте мог указать только «подлеца» и «труса», а, между тем, в числе рабочих, с которыми занимались чайковцы и другие кружки, было много таких, которые ничем не отличались от лучших интеллигентов. Не говоря уже о позднейших деятелях, приведу из среды рабочих имена Обнорского и Орлова, близких к чайковцам[2].

В первые фазы движения петербургские кружки и отдельные деятели не отказывались от представлявшихся им случаев оказать то или иное влияние на провинциальные кружки. Впрочем, очень часто это влияние передавалось как бы само собой, без всякого активного участия виновников его. Студенческие землячества доставляли даровых и самых добросовестных почтальонов, разносивших вести из столицы в свои родные города, где у них оставались связи среди учащихся. Это обеспечивало в известной мере однообразный ход движения повсеместно. Но теперь оказывалось этих средств недостаточно, и наиболее деятельные кружки старались заводить постоянные сношения с провинциальными кружками. Эту сторону деятельности трудно приурочить к какому нибудь одному периоду, на которые мною разделена история движения и, если я упоминаю о ней в настоящей главе, то только потому, что теперь заботы об единении усилились. Обращаясь к данным обвинительного акта,

---

[1] Артамонов ошибся, называя одного подлецом, другого трусом. Оба они ничего не выдали, но, может быть, имели некоторые недостатки, позволившие автору письма дать о них такие резкие отзывы.

[2] Рабочих в этот период было так мало в революционном движении, что их можно было пересчитать по пальцам. Только со времени появления рабочих союзов (с союза Заславского) число рабочих становится значительным. *Прим. Е. Н. Ковальской.*

можно убедиться, что многие из анархистов совершали иногда отдаленные даже поездки. Так, Рабинович перебывал во многих городах Российской империи, Войнаральский был в постоянных путешествиях из Москвы на родину и в восточные губернии и обратно. Но более всего об'ехал разных городов, кажется, Ковалик. Им в разное время посещены города: Москва, Киев, Одесса, Ярославль, Кострома, Нижний, Казань, Самара, Саратов и Харьков. Чайковцы также посылали в разные места своих агентов. Понятно, что при таких условиях должно было замечаться более или менее полное сходство в развитии движения повсеместно в России. Затем, необходимо было приискать материальные средства, заготовить народную одежду, фальшивые паспорта и книги для раздачи в народе, а по пути и в интеллигенции. Вопрос об одежде разрешался легко при имении денег. Для фабрикации паспортов на скорую руку составилось небольшое бюро при кружках, но этим делом занимались и отдельные лица. Чтобы иметь возможность изготовить неограниченное количество паспортов необходимо было достать бланки крестьянских паспортов и вырезать печати по образцам, имевшимся на настоящих паспортах. Некоторые доходили впрочем до более простых средств. Получив оттиск на массе из гипса какой-нибудь сургучной печати, коптили его на свечке и прикладывали куда следует.

Самым трудным вопросом было отыскать денежные средства, необходимые для снаряжения в народ. Средств, находившихся в распоряжении Войнаральского, было, конечно, недостаточно даже для снабжения самым необходимым всей массы лиц, выразивших желание итти в народ; только близкие лица могли черпать из этого источника. Поэтому каждый кружок старался самостоятельно решить для себя денежный вопрос.

Для приобретения средств пользовались, хотя и в слабой еще степени, студенческими вечерами и другими увеселениями, устраиваемыми нарочито для этой цели. Члены кружков, получившие от своих более или менее состоятельных родителей деньги на необходимые жизненные расходы, охотно обращали их в общую собственность. Иначе и не могло быть при существовавшем взгляде революционеров на этот источник средств. Один из лучших среди чайковцев пропагандистов, Синегуб, по удостоверению обвинительного акта, предлагая деньги рабочим, с которыми он занимался, говорил, что эти деньги тоже крестьянские, так как он получает их от своего отца, такого же мироеда, как и другие. Более крупные суммы поступали в редких, конечно, случаях, от состоятельных членов кружка или лиц, сочувствовавших. Обвинительный акт констатирует, что некто Любавский обещал внести в кассу чайковцев часть сво-

его состояния. У Гауэнштейна, члена кружка чайковцев, при аресте отобраны деньги в сумме свыше тысячи рублей. Сестры Щукины, входившие в состав кружка Каблица, вышли фиктивно замуж за двух членов кружка (Каблица и Стронского), чтобы получить от родителей приданое, которое целиком и внесли в кассу, всего кажется, 5—6 тысяч рублей.

Кружок, располагавший такими средствами, считался уже богатым, большинство же кружков имело в своем распоряжении ничтожные суммы, напр., Харьковский кружок — всего 170 рублей.

Комплект нелегальных изданий, предназначенный для распространения в народе и в интеллигентной среде, был в 70-х годах сравнительно очень ограничен. Более других содействовали изданию книг чайковцы, а впоследствии и типография Мышкина. Большая часть книг и брошюр печатались за границей и перевозились в Россию разными путями. Чайковцы имели свой налаженный путь, Лермонтов для устройства пути посылал за границу Рабиновича, который при помощи эмигранта Сажина (показание Рабиновича) уговорился с контрабандистами, обещавшими все книги, получаемые от того же Сажина, переносить через границу. Братья Павловские и Лурье, член Киевского кружка, занимались также доставкою книг из заграницы.

Кроме весьма популярной книги «Государственность и Анархия», в описываемое время были распространяемы следующие издания: «История одного французского крестьянина» (переделка Шатриана), «Сказка о четырех братьях», «Хитрая механика», «Стенька Разин», «Емелька Пугачев», «Дедушка Егор», «Митюха», «О мученике Николае», «Вольный атаман Степан Тимофеевич Разин», «Сила солому ломит», «Чтой-то братцы» (прокламация—«Отщепенцы») Соколова, «Гражданская война во Франции» — Маркса, «Программа рабочих» — Лассаля, «Песенник».

Из перечисленных книг наибольшим успехом в народе пользовались «Хитрая механика» и «Сказка о четырех братьях». Песни, вроде «Барка», не получили среди крестьянства почти совсем распространения.

Каждый кружок по своему усмотрению выбирал книги для распространения в народе. Одни из деятелей, придававшие наибольшее значение устной пропаганде, набирали мало книг, другие, наоборот, запасали их в большом количестве. Кроме того, независимо от суб'ективного отношения к книжной пропаганде, революционеры всех оттенков старались снабжать обильно книгами такие места, которые должны были служить центрами пропаганды.

Все эти практические дела не оставляли свободного времени для окончательного выяснения оставшихся небольших

разногласий между кружками. Споры, если и случались, стали терять остроту и открывать возможность компромиссов. Крайние и более умеренные анархисты мирно беседовали о формах практической деятельности. Первые готовы были признать пригодными для революционной работы самые аристократические профессии, врача, учителя и пр., вторые — санкционировать летучую пропаганду и агитацию вплоть до участия в мелких бунтах. Поэтому решение Евгении Судзиловской (из кружка Лермонтова) открыть, по приглашению Войнаральского, лавочку в с. Степановка, Пензенской губернии, не встретило уже ни с чьей стороны оппозиции.

Выше было уже упомянуто, что молодежь проявляла мало склонности к солидным формам организации, требующим строгой дисциплины. Тем не менее, мысль о необходимости организации не чужда была даже самым юным революционерам. Лидеры движения хорошо поняли это и сделали попытку к некоторой зачаточной организации, которая могла бы обнять все действовавшие силы. Кружок признавался ячейкою, возможной на первое время организации. Поэтому лидеры, прежде всего, старались связать крепкими узами дружбы и единомыслия членов своих собственных кружков и тем придать им вид организованных групп. Каждый из более значительных кружков, подобно первостепенным державам, имел в Петербурге своего представителя, который должен был оставаться в столице даже и тогда, когда остальные члены уйдут на работу в народ. Более мелкие кружки, как второстепенные державы, поручали представительство своих интересов главным кружкам. Так, артиллеристы избрали своей представительницею Ободовскую (из кружка чайковцев), а Харьковский кружок поручил свой голос кружку Ковалика. Представитель принужден был отказаться от главного дела, к которому стремились революционеры, — пропаганды и агитации в народе, и зарыться во второстепенные, как казалось многим, мелочи. Поэтому представительство являлось своего рода жертвой, которую приносил кружку единичный его член. С другой стороны, кружки избегали выбирать в представители своих лидеров, считая их более полезными на главном посту — в народе. Чтобы согласить противоположные интересы, кружок иногда назначал своим представителем человека, не примкнувшего к нему окончательно, но связанного с членами его личными отношениями и единством миросозерцания.

Обязанности представителя состояли в поддержании сношений с имевшими раз'ехаться членами кружка, доставлении им необходимых средств и к представительству интересов кружка перед другими революционными кружками. Часто пред-

ставитель оставался без гроша денег, и это нисколько не обескураживало членов кружка, веривших в свои силы.

Но одного института представительства, без какого-нибудь союза, хотя бы только оборонительного, держав, оставшихся в столице и крупнейших городах своих уполномоченных, казалось мало. Мысль о союзе созрела незадолго до весны — времени отправления в народ. Из всех форм возможного союза остановились на самой безразличной, не могшей внести раздора между союзниками — общей кассе. Созваны были представители всех петербургских кружков для обсуждения этого вопроса. Почти единогласно решено было организовать общую кассу, имевшую целью помогать всем, работающим в народе, без всякого различия направлений и организаций к которым они принадлежат. Одинаковая помощь должна была оказываться и одиночкам, ведущим в народе пропаганду. Средства кассы должны были составляться из взносов кружков, в размере 10% собственных их капиталов, и других случайных поступлений. Касса управлялась тремя выборными, которыми на первый раз, кажется, были: Ободовская (чайковцы), Паевский (кружок Ковалика) и Рабинович (кружок Лермонтова).

Касса представляла собой первый зачаток общей организации революционеров. В своем первоначальном виде она не могла бы долго существовать и должна была бы принять или более совершенную форму, теснее об'единяющую революционеров, или распасться. Во что именно должна была обратиться касса, это осталось навсегда в области предположений, так как начавшиеся летом аресты разрушили не только кассу, но и кружки, которые желали в ней об'единиться.

Одновременно с учреждением кассы решено было всем, поработавшим в народе, с'ехаться в начале октября в Петербурге. Целью с'езда намечались обмен впечатлениями и выработка, по возможности, общего плана дальнейшей революционной деятельности. С'езд должен был бы иметь крупное значение в деле дальнейшей организации начинавшей свое существование революционной партии. Значение его чувствовалось молодежью. Это видно из того, что во всех кружках даже наиболее далеких от Петербургских деятелей, идея с'езда была весьма популярной, и о нем много толковали. Следы этой популярности с'езда сохранились и в обвинительном акте.

В описываемое время движение получило развитие полное и приняло вполне определенные формы. Дальнейшая деятельность в народе не могла изменить характера движения. Поэтому теперь своевременно изменить цель движения и место, которое оно заняло в развитии революционных партий. Я не буду говорить, как именно понимали сами участники движения цели, к которым оно должно было вести. Самая точная анкета по-

средством опроса всех современников движения ничего не дала бы, кроме путаницы отдельных мнений. Только изучив беспристрастно важнейшие стороны движения, можно составить себе ясное понятие о том, чего оно достигло. Это и будет конкретная цель движения.

Наиболее об'ективными наблюдателями обыкновенно считаются люди, стоящие в стороне от переживаемых событий. Верно это или нет, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что на лицо не было и не могло быть сторонних наблюдателей движения 70-х годов. Оно проходило в замкнутой среде молодежи, страстно откликавшейся на сменяющиеся лозунги движения и потому ни в каком случае не могущей дать показаний в качестве постороннего свидетеля. Но об'ективность может быть присуща и участнику движения, если он, оглянувшись назад на давно пережитое, сумеет отличить главное от второстепенного, содержание от формы и т. п.

Прежде всего, обращает на себя внимание тенденция движения расти неограниченно в ширь. Глубина движения определилась с самого начала и оставалась все время, как постоянная черта его. Отдельные деятели могли с большою осторожностью подходить к людям, еще не затронутым движением, делать самый строгий выбор между ними, но волна движения опрокидывала все искусственные сооружения, и оно с неудержимою быстротою росло в ширь. Из рассмотренных кружков одесский сделал несравненно больше, чем харьковский, но последний типичнее для движения, чем первый. Перед этим стихийным стремлением к широте отодвигаются на второй план даже практические задачи движения в народ. Революционизировало ли движение одного или тысячи крестьян, это не имеет существенного значения для главной его особенности.

Далее, движение, начавшееся страстною борьбой направлений, с течением времени делается все более и более цельным. Мало-по-малу создается такая общность стремлений и интересов, что участники движения связываются узами более крепкими чем налагаемые семьею, родством и пр. Содействие и помощь были обеспечены всякому, кто докажет, что он член одного из революционных кружков. Революционная молодежь, ожесточенно ломавшая копья из-за незначительных оттенков направления, если не сознательно, то инстинктивно признавала, что она составляет нечто единое, цельное. Это, между прочим, видно из отношений ее к идеям, не входящим необходимо в круг ее миросозерцания. Вместо прежнего принципиального их отрицания все более и более появляется тактическая их оценка, т.-е. выгода или невыгода для того целого, к которому считает себя принадлежащим каждый молодой революционер. Мы уже видели, что при оценке цареубийства на первый план

было выдвинуто несоответствие этого акта с интересами движения, как чего-то цельного. Точно также переменилось отношение революционеров и к конституционной форме государственного быта. Прежде конституция отрицалась принципиально, теперь же преобладала тактическая точка зрения. Говорилось, что конституция обнародованная в настоящее время, могла бы отвлечь от начинающего сплачиваться движения много еще недостаточно окрепших сил, которые увлекаясь перспективой открытой, легальной деятельности, отказались бы от крайних взглядов в пользу более умеренных.

Это начинавшее себя сознавать целое противопоставлялось правительству. Слухи о произведенных отдельных арестах все чаще и чаще вызывали со стороны революционеров реплики, что необходимо дать отпор правительству. В чем именно должен был состоять отпор, это еще не было ясно большинству, но, очевидно, что подразумевались — протест, месть и т. д. Еще не настало время для террора, как системы — прежде необходимо было испытать свои силы в народе. После же арестного погрома, коснувшегося тысяч молодежи, скоро возник вопрос и о последовательной террористической деятельности.

Если ко всему сказанному прибавить, что движение с учреждением кассы сделало первый опыт организации всей революционной молодежи, то не трудно найти имя тому единому или целому, принадлежность к которому чувствовалась всеми— это ничто иное — как партия.

Первым во всеуслышание произнес слово «партия» Мышкин в знаменитой своей речи, произнесенной на суде. Он доказал, что кучка людей, стремившихся разрушить существующий строй, составляет социально-революционную партию. Движение именно и создало эту партию, хотя еще не организованную, но имеющую все признаки таковой.

Мышкин имел предусмотрительность назвать партию не анархической, как казалось бы и следовало, а социально-революционной. Очевидно он допускал, или даже, может быть, предвидел, что программа партии должна время от времени в известных пределах изменяться, но главный ее признак — социально-революционный характер — останется неизменным. Другими словами, Мышкин сказал, что крайние русские партии должны быть в одно и то же время и социалистическими, и революционными, и стремиться не к политической только, а к социальной революции. Под понятие, которое он соединял со словами «социально-революционная», одинаково подходят все последующие революционные партии в России: «Земля и Воля», «Народная Воля», «Народное Право» и современные партии «Социал-демократов» и «Социалистов-революционеров». Начатки всех этих партий можно, при внимательном анализе,

найти в движении 70-х годов. Время этого движения было как бы апостольским периодом русской революции. Все последующие партии охотно выводили свое происхождение от первых революционеров 70-х годов, считая только своих адептов истинными их последователями и истолкователями.

Близорукие власти, а вслед за ними столь же близорукие обыватели, не понимая исторического значения движения семидесятых годов, думали, что посредством многочисленных арестов 1874 года, носивших характер погрома, они выловили всех революционеров и убили одухотворявшую их идею, но самое большее, что они могли сделать — это потушить яркое пламя, пепел же продолжал тлеть и из него скоро с такою же, если не большею силою, разгорелось в 1876 году, новое движение, не прекращавшееся до 80-х годов.

В начале движения неучаствовавший в нем по независящим причинам Натансон, в одном из перехваченных писем выразил такие пожелания:

«Самая ссылка вообще меня нисколько как-то не занимает, я все думаю о той подготовке, которую я должен дать себе в ссылке, подготовку такую, чтобы, куда бы только не забросила меня судьба, я мог бы высоко держать знамя народного дела. Я убеждаюсь, что всего страшнее, что полной системы или катехизиса совершенно пока нет еще у народной партии, что о народе можно пока сказать только — напрасно пророка о тени он просит. Итак, задача подготовки выясняется: собрать все отдельные защиты народного дела, все отрывки и соединить их в одно стройное целое, в нечто такое, что дало бы партии ответ на все вопросы возникающие у личности... Просьба, всеми силами старайся, чтобы друзья (чайковцы) не разбрелись».

В этом письме виден еще сильный теоретик, силою обстоятельств вынуждаемый думать о подготовке личности, но тем не менее, даже оставаясь на этой «ссыльной» точке зрения, Натансон согласился бы вскоре потом, например, к весне 1874 года, что партия имеет «полную систему» и что все отдельные защиты народного дела и т. д. не только собраны, но и положены в основу революционной программы партии. Приведенное письмо Натансона, если оставить в стороне некоторые преувеличения, неизбежные в ссылке, дает возможность, при сопоставлении его с последующею деятельностью, составить ясное понятие о крупных успехах движения за очень короткое время.

XII.

Деятельность в народе и ее результаты.

Весною 1874 года молодежь, принявшая программу движения, отправлялась по железным дорогам из центров в провинцию. У каждого молодого человека можно было найти в кармане или за голенищем фальшивый паспорт на имя какого-нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке поддевку или, вообще, крестьянскую одежду, если она уже не была на плечах пассажира, и несколько революционных книг и брошюр.

Из Петербурга революционеры двинулись одни на родину или места, где у них имелись какие-нибудь случайные связи, другие — большинство — на Волгу, где они ожидали найти наиболее благоприятную почву для революционной деятельности, третьи — меньшая часть — направились на юг, преимущественно, в Киев, четвертые, наконец, считали нужным предварительно заехать в разные губернские города, где имелись революционные кружки, с которыми предполагалось установить связи, или представлялся какой-нибудь случай для пропаганды. Чайковцы в большинстве избрали первый путь, кружки Ковалика и, частью, Лермонтова, отправились в Поволжье, при чем часть членов заезжали в Пензу, кружок Каблица направился в Киев и т. д. Несколько пропагандистов поехали в отдаленный Оренбургский край (голоушевцы) на место своей родины. Из Киева и Одессы пропагандисты разбрелись по югу России, преимущественно по губерниям: Киевской, Подольской, Екатеринославской и доходили даже до Крыма. Некоторые направились в Полтавскую и Черниговскую губернии, где в Конотопском уезде основались братья Жебуневы. Муравский звал голоушевцев даже в Сибирь, предвещая им там полный успех, но они не решились забираться так далеко. На этот раз, т.-е. в 1874 году Сибирь осталась вне влияния пропагандистов. Этот пробел был пополнен уже тогда, когда она была наводнена ссыльными. Недаром Веревочкина, отказавшись наотрез от

предложения Муравского, писала: «здесь мы нужнее, а там мы еще будем». Точно также никто, кроме Данилова, действовавшего особняком, не отправился к сектантам. Вопрос о значениях сект не раз возбуждался на собраниях, но не получил определенного решения. Сторонники деятельности в среде сектантов встретили противодействие в естественном предпочтении, оказываемом революционерами широкой работе в среде крестьянства вообще перед узкой и односторонней пропагандой сектантам. Также не имели успеха сторонники деятельности среди военных: революционеры считали более целесообразным действовать на массы, полагая, что когда восстанет весь народ, то и войска пойдут за ним.

Таким образом, летом 1874 года революционеры рассыпались по всему обширному пространству Европейской России, за исключением Кавказа и самых северных губерний. Работа в народе, как и самое начало движения, оставалась неизвестной обществу до времени крупных арестов. Посторонний глаз не замечал революционеров в селах так же, как мы не замечаем отдельных муравьев, снующих по разным направлениям в лесу, пока не наткнемся на муравейник.

Первою заботою революционеров, двинувшихся в народ было приискание таких пунктов в районе будущей их деятельности, в которых можно было бы поселиться (оседлые пропагандисты) или из которых можно было совершать экскурсии в народ (летучие пропагандисты). Многие сравнительно легко находили такие пункты в домах родных или знакомых, чаще всего в помещичьих усадьбах, квартирах учителей и медицинского персонала и т. п. Кто не мог устроиться сам, тому помогали другие посредством рекомендательных писем и всякими вообще способами. Кружки устраивали с этой целью кузницы и другие мастерские или же пользовались квартирами распропагандированных рабочих, переселившихся в свои деревни для пропаганды. Так, например, двое рабочих отправились, по настоянию Жебуневых, на свою родину, в Курскую губернию, один рабочий под влиянием кружка Ковалика, в Ярославскую губернию и т. д. Практический ум Войнаральского подсказал ему, что «пункты» имеют большое значение для развития в народе революционной деятельности. Он увлекался планом устройства таких пунктов по известной системе на всем обширном пространстве России и приступил к практическому осуществлению этого плана в районе Поволжья. Владея сетью пунктов, революционеры, по мнению Войнаральского, имели бы возможность приступить к устройству областной организации крестьян.

Главным пунктом в Поволжье Войнаральский избрал Саратов, где на его средства открыта была сапожная мастерская с настоящим сапожником (Пелконеном) во главе. В этой мастер-

ской находился, между прочим, склад изданий типографии Мышкина и собрание фальшивых печатей и паспортов. В предполагаемую сеть пунктов Войнаральскому удалось внести несколько постоялых дворов и частных домов, как в городах, так и в деревнях. Особенно удачна была в этом отношении деятельность Войнаральского в Самарской губернии. На первое время пункты, устроенные Войнаральским и другими деятелями, имели значение в смысле притонов, в которых мог останавливаться каждый революционер по пути в народ. В то же время они облегчали переписку и всякие вообще сношения между революционерами. Повышенное настроение, в котором, главным образом, черпали свои силы пионеры русской революции, требовало общения их между собою и могло поддерживаться только общением. В тех случаях, когда пропагандисты забирались в глушь и временно были отрезаны от остального мира, деятельность их заметно ослабевала или оживлялась после свидания с лицами, вновь прибывшими из центров. Так было, между прочим, с людьми, уже не юными, поселившимися в Николаевске, Самарской губ. После приезда к ним свежих людей началась усиленная с их стороны деятельность по пропаганде среди уголовных арестантов[1] и пр., как это видно из обвинительного акта. Отсюда следует заключить, что «пункты» имели в первое время работы в народе немаловажное значение для революционеров. Впоследствии пункты облегчили поимку революционеров, но эта вредная для них сторона пунктов была сравнительно менее важна и нисколько не опровергает сказанного выше.

Как бы кто из революционеров ни смотрел на значение пропаганды, все они в большей или меньшей степени ею занимались. Одни из пропагандистов предпочитали проходить из села в село по избранному ими более или менее обширному району, другие действовали набегами из занятых ими позиций, третьи старались занять какое либо определенное положение в деревне, или проживали у лиц, занимающих такое положение, и круг своей деятельности ограничивали сравнительно небольшими пределами.

Первые два способа пропаганды по существу мало отличались друг от друга — это так называемая летучая пропаганда. Этот вид пропаганды особенно привлекал молодежь

---

[1] В подготовительном периоде на сходках не подымалось вопроса о пропаганде между уголовными, но потом, во время своей практической работы, революционеры в отдельных случаях заводили сношения с уголовными, тоже, с своей точки зрения, отрицавшими существующий строй. Сношения эти имели временный успех, уголовные как будто перерождались для новой жизни, но не надолго. Впоследствии продолжительное сиденье в тюрьме вместе с уголовными разочаровало окончательно политических.

своей относительной трудностью. Пропагандист все время находился в напряженном состоянии: с одной стороны, он все время, проводимое среди незнакомых крестьян, должен был настолько хорошо разыгрывать свою роль, чтобы в нем не заподозрили переодетого барина, с другой — ему приходилось проявлять большую находчивость, чтобы во всяком пустом разговоре найти подходящую почву для пропаганды. Для преодоления всех этих трудностей необходимо было независимо от большой уверенности в своих силах и способностях, иметь предварительное знакомство с характером и бытом народа. Этот способ успешно практиковали Рогачев, Кравчинский и Клеменц. Все они, особенно Клеменц и Рогачев, проведший в народе около двух лет, считались знатоками народа. К этому же способу прибегали Войнаральский, Брешковская, Стефанович, Ковалик, Мокриевич и др.

Летучая пропаганда, по самому существу своему, не могла иметь задачей не только последовательного просвещения народа, но и систематического его революционизирования — она стремилась внести революционное брожение в широкие слои населения. Пропагандист не считал потерянным временем, если ему удавалось возбудить в своих случайных собеседниках — крестьянах или рабочих — какую-нибудь отдельную революционную мысль или даже только усилить существующее у них недовольство своим положением. С этого положения обыкновенно и начинались разговоры: отсюда легко было перейти к эксплоатации крестьян помещиками, к притеснениям купцов, к злоупотреблениям чиновников. Если все эти стадии беседы проходили удачно, то пропагандист переходил к оценке верховной власти и доказывал, что она, в лице царя, является покровителем всех тех, кто угнетает народ. В результате собеседники призывались к самодеятельности, к борьбе всем миром с кулаками, помещиками и чиновниками. Активные крестьяне, готовые стать в ряды борцов, встречались очень редко. Чаще лица, с которыми беседовали пропагандисты, выражали свои пожелания, более или менее отвечавшие тому, что проповедывали пропагандисты, но на призыв к активной борьбе подавали реплики, свидетельствующие, что они лишь поддержат тех, кто начнет борьбу, при чем одни ожидали начала от царя, другие от революционеров. Пропагандист считал себя вполне удовлетворенным, если ему говорили: «начинайте, мы поддержим».

Оседлая пропаганда велась также в большинстве случаев лицами, не имеющими определенных занятий. Пропагандист поселялся обыкновенно в доме своих родных или сочувствовавших ему знакомых. Сравнительно немногие из оседлых пропагандистов имели определенную профессию, занимая

должности учителей и фельдшеров. К оседлым пропагандистам следует присоединить также небольшое число учителей, не вошедших окончательно в революционную партию, но сочувствовавших ей и распространявших между крестьянами революционные книги.

Оседлая пропаганда по существу своему должна была вестись более осторожно и медленно, чем летучая. Пропагандист заводил знакомство среди ближайших крестьян или рабочих, сперва как будто без определенной цели, затем мало по малу начинал беседовать с ними на революционные темы и давать им для прочтения или в собственность разные революционные книги. Эти последние в оседлой пропаганде играли гораздо большую роль, чем в летучей. Кроме того, оседлые пропагандисты не отказывались также от пропаганды среди лиц, принадлежавших к сельской интеллигенции.

Оседлые пропагандисты встречались почти во всех кружках. Особенно много встречалось их среди чайковцев, одесситов, в московских кружках, в Пензенском, Самарском (местном) и Оренбургском. Общее число их, по всей вероятности, было не меньше, чем летучих пропагандистов.

Между пропагандистами оседлыми и летучими существовала взаимная связь, так что одни до некоторой степени дополняли других. Места оседлости первого рода пропагандистов служили иногда «пунктами» для летучих пропагандистов. От оседлых эти последние нередко получали сведения о более интересных для них селениях и отдельных крестьянах.

На основании фактических данных невозможно определить относительное значение рассмотренных двух родов пропаганды. Но можно найти некоторые указания на то, что первостепенное значение принадлежало летучей пропаганде. В обвинительном акте встречаются часто факты из деятельности летучих пропагандистов. Этого нельзя об'яснить только тем, что оседлая пропаганда, будучи по необходимости более осторожной, оставила в руках жандармов менее следов. Вследствие особенных условий, в которых производилось дознание, оно напрягало все усилия лишь к тому, чтобы по найденным ниткам размотать весь клубок, что в большинстве случаев и удавалось. При взаимно перепутанных отношениях летучих и оседлых, одинаково легко раскрывалась деятельность тех и других. Поэтому большое внимание со стороны следственных властей к деятельности летучих пропагандистов свидетельствует о том, что они и на самом деле совершили более преступных фактов, чем оседлые пропагандисты. Независимо от этих указаний полу-фактического характера, как самый подбор деятелей, так и большая смелость с которой они, по обстоятельствам своего положения, могли высказаться,

должны были придать летучим пропагандистам более важное значение, чем оседлым. Во всяком случае, именно они задавали тон движению и действовали в направлении широты распространения революционных идей, а эта широта и составляла главную отличительную черту движения.

Еще труднее произвести общую оценку результатов, достигнутых пропагандистами в народе. Бесследно пропаганда, конечно, не могла пройти, а, между тем, не существует никаких видимых или материальных следов воздействия ее на народ. Сами участники пропаганды различно решали этот вопрос. Одни давали самый восторженный отзыв об успехах своей деятельности в народе, другие же — видели в ней сплошную неудачу. Это отразилось и в переписке, перехваченной жандармами и попавшей в обвинительный акт.

Веревочкина, член Оренбургского кружка, в одном из своих писем сообщает, что в одно село она ходила «как бы за ягодами» и осталась как от этого, так и от другого своего путешествия в восторге. «Книг мне не надо, что касается их чтения, то они расходятся крайне медленно, нет, здесь не книги нужны! Людей то больно мало, а то могло бы быть важное дело. Эх, кабы народу побольше». В другом письме Веревочкина рассказывает, что в одном селе, принявшем ее сначала хорошо, потом распространился слух, что она колдунья — и называет это обстоятельство своей — «неудачей».

Нужно заметить, что пропагаторская деятельность в народе женщины, особенно молодой, представляла такие затруднения, которых не знал мужчина. Еще на сходках нередко поднимался этот вопрос, но определенного решения не было поставлено, большинство-же, в том числе и сами женщины, склонялись к тому мнению, что и в данном случае не следует нарушать равноправия — пусть те из женщин, кто может, идут в народ, как и мужчины, в крестьянской одежде, и сами, как знают, избегают неприятностей, связанных с принадлежностью их к прекрасному полу. В виду этих особенных трудностей для женщин, показания их в смысле благоприятном для их деятельности имеют особое значение.

Брешковская вообще производила обаятельное впечатление на людей, с которыми она встречалась и потому неудивительно, что крестьяне хорошо ее принимали. Путешествия свои она совершала с Коленкиной и Стефановичем, которого называла «сыном». По ее рассказам, она была довольна результатами своих странствований, продолжавшихся сравнительно долго — она успела побывать в Белозерье, Смеле и была затем арестована в Тульчине, где продолжала пропагандировать приставленых к ней стражников из крестьян. Одного из

них она сумела убедить отправить к «сыну» в Киев предупредительную телеграмму. Вера Рогачева также говорила о своей успешной деятельности в народе. В деле сохранился, наряду с вышеприведенными, отзыв женщины не только пессимистического характера, но прямо отрицательный. Это письмо Ободовской, в котором она, не участвуя сама в хождении в народ, указывает слабые стороны движения 70-х годов. Содержание письма будет приведено ниже.

Никто из революционеров не вел такой обширной переписки, как голоушевцы, поэтому я снова воспользуюсь выдержками из их перехваченных писем.

Федорович писал восторженно Веревочкиной, что сестры его, которым он раньше послал книги и прокламации, превзошли его ожидания и обещали ему помогать во всем. Так как письмо совпало со временем хождения его в народ, то, очевидно, что он остался доволен результатами своих бесед с крестьянами, оставшимися не без влияния на тон письма.

Другой член того же кружка, Аронзон, более пессимистически настроенный, видит всю неудачу пропаганды в том, что крестьяне слушают, но сами не пропагандируют слышанного. Советуя Голоушеву бросить мысль о поступлении на место учителя и, следовательно, повидимому, предпочитая летучую пропаганду, он пишет: «Ты сам, как видно, из твоего письма к Орлову, жалуешься на неплодотворность своей деятельности. Я могу тебе сказать, что все жалуются на это. Бяха или Яй-богу (Клеменц), с которым я виделся на пароходе и с которым долго беседовал, тоже жалуется на это самое. Он говорил, что слушать то слушают, но сами слышанного не распространяют, разговоры остаются разговорами. Глубоко в грудь они не западают, в одно ухо вошло, в другую вышло. Главная причина неплодотворности нашего дела заключается в отсутствии развития со стороны угнетенных и в нашем общественном шалопайстве. Для того, чтобы деятельность наша была плодотворна, нужно развивать отдельных личностей и бросить шалопайство. Этого достигнем помощью известного тебе плана — поселиться в деревне и устроить прочную организацию. Этот план обещает нам, что не сгинем даром и бесполезно, личную безопасность и возможность во всю нашу жизнь действовать (конечно, если не торопиться и вести дело не сбухту барахту, а «разумно») замечает Аронзон. Далее автор, понимая, что прочное поселение требует средств, проектирует, по окончании курса в академии, поступить на место, скопить 3.000 руб. и тогда за дело... Голоушеву же он советует оставить на время деятельность, так как за нами «следят».

Совет этот дан слишком поздно — в руках жандармерии была уже нить клубка, которая скоро довела ее и до Орен-

бурга. Происхождение письма вероятнее всего об'яснить тем, что Клеменц, встретив восторженного юношу, Аронзона, пытался его несколько охладить, и тот, серьезно задумавшись об организации революционеров, все, что слышал от Клеменца, собрал как неоспоримое доказательство в пользу перемены плана деятельности. Отсюда и пессимизм автора, не мешавший ему продолжать начатое дело распространения движения в ширь. В дальнейшей эволюции революционного движения оно, во время процветания «Земли и Воли» останавливалось на плане более солидного поселения в народе, но думать об этом в 1874 году было еще рано.

Приведу еще письма известного потом Данилова, который не вполне шел в униссон с движением и действовал независимо от какого бы то ни было кружка.

«В этой же (молоканской) деревне (Воронцовке) проживала одна барынька,[1] революционерка изрядная, я знавал ее еще в Тифлисе... Ну, разумеется, когда я приехал, то первоначально разыскал барыньку, барынька моя довольна и в восхищении от молокан. Народ, действительно, порядочный, совершенно критически относится к царю и правительству, а самое главное, что без вида без всякого, только зарекомендовав себя, или, вернее, в пользу, вообще, русского народа, можно и прожить и пропагандировать, что твоей душе угодно... Таким образом, работал я по целым неделям и в воскресенье устраивал чтение революционных запрещенных рассказов, хотя нужно отдать справедливость русской социально-революционной партии, книг подходящего содержания очень мало... Народу собиралось душ до 15—10, после каждого и во время чтения поднимались разговоры, которые почти всегда поднимал один рыжий малый, лет 40, фразою: «ну как же мы все это устроим». Под этим «все» подразумевалось разделение земли и изгнание попов с чинами и царем; и оканчивались подобные разговоры фразою кого-нибудь из ребят: «это все так, да как его начинать, пусть мол, в России начнут, а мы уж поддержим»... Были и такие, которые не находили возможным обходиться без царя и поднимались споры».

Письмо Данилова, хотя касается только сектантства, имеет и общее значение. Особенно характерны слова, которые приходилось слышать и многим другим пропагандистам: «пусть начнут, а мы поддержим».

---

[1] Мария Александровна Шавердова, бывшая учительница женского института в Тифлисе. Она была уволена за „дурную репутацию“ в нравственном отношении, выразившуюся, главным образом в том, что она внушала воспитанницам мысль ехать для дальнейшего образования в Цюрих, что некоторые и исполнили.

Точно также дышат уверенностью в успехе отзывы лиц, пытавшихся, после первых арестов, восстановить порванные связи. Отзывы эти приведены будут ниже.

Из всех приведенных выше мнений самих деятелей о ходе их работы в народе видно, что в большинстве случаев они уверены в успешности ее. Обвинитель, несмотря на видимое его желание остановиться на пессимистических отзывах, не мог собрать их во сколько-нибудь значительном количестве.

Двойственность мнений происходит, главным образом, потому, что оценка происходит с двух различных точек зрения. Одни ищут материальных следов работы, как-то организации крестьянских групп, бунтов и других проявлений недовольства и т. п. и не находят их. Поэтому они склонны думать, что движение 70-х годов было безрезультатно. Другие смысл движения видят в брожении, которое оно вносит всюду, куда проникает. С их точки зрения интеллигенция — это фермент, вызывающий известный процесс не только в среде интеллигентной молодежи, но и в народе. Фермент, казалось этой части деятелей, произвел свое действие, процесс движения в народе чувствовался ими, и потому они находили, что недаром потеряли свое время.

Каждый по своему оценивает, полезно или вредно данное явление. Только в редких случаях оно оценивается одинаково всеми мыслящими людьми. Еще меньше об'ективности допускает суждение о том, соответствуют ли принесенные жертвы достигнутым результатам. Самая частая ошибка, в которую впадают люди при оценке какого-нибудь крупного современного им явления, состоит в том, что они рассекают историю в произвольном месте и по одной части явления (в месте сечения) судят о целом. Сила, торжествующая в момент, на котором произведено сечение, обыкновенно при этом преувеличивается, а сила, временно ослабевшая, умаляется. Так, если рассечь движение 70-х годов в момент, когда революционеры потерпели поражение и были почти все засажены в тюрьмы, то легко прийти к заключению о его ничтожестве. Наоборот, те, которые захотят его рассечь в момент нового оживления, напр., в 1876 году, склонны будут признать ничтожными аресты, а не самое движение. Однажды, когда участники процесса 193-х сидели в Доме предварительного заключения, ими получены были с воли одновременно две записки, одна от человека, принимавшего участие в движении 73—4 годов, и потом отставшего, другая от Мачтета, стоявшего близко к возродившимся деятелям революции в 1876 году. Автор первой записки, знавший только провал революционеров в 1874 году, пел отходную движению; наоборот, автор второй записки, наблюдавший историю революционной деятельности в момент наибольшего под'ема волны

1876 года, в самых восторженных словах говорил об успехах всего движения вообще и современного ему в особенности.

Ободовская, очевидно, наблюдала историю в момент ослабления движения. В одном из перехваченных писем она рассуждает таким образом:

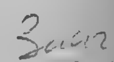
«Тяжело то, друг, что большинство личностей, несмотря на единичные и серьезные ошибки и провалы, несмотря на множество поучительных для себя фактов, не становятся искренними, прямыми, беспристрастными аналитиками всего происшедшего в этот год; никто почти не сводит серьезно счетов с собою и с тем общим целым в его содержании и формах, которое успело достаточно выразиться и характеризоваться крайне грустно, даже мрачно... Не принимая сама непосредственного участия в попыточной практике, я, тем не менее, наблюдала и переживала целое в его частностях, простых и более сложных, которыми оно разрешалось от поры до времени; из них я составила понятие о тех средствах, которыми располагает теперь народное дело, и вижу я — живого нам дела теперь нет даже в живом зародыше... Наши пропагандисты пропорхнули на Руси и нигде не пристроились, потому, вишь, что все им местности, попадались неблагодарные; им приходилось отказаться от прежней сладкой надежды, что, ничего не делая, живя на чужой счет, ведя праздную жизнь в среде рабочего люда, они могут делать что-либо нужное... Вот и не выходили они себе ничего со своими особыми, несвоевременными требованиями... Тысячи истратили они на свои демократо-туристские странствования, анархисты же, главным образом, занялись организацией провинциального юношества для немедленного поднятия революции... Теперь же народ не знают и a priori решают: писать книжки нужно, а о чем не знают... они думают отдуваться книжками[1], сочиняемыми ими, которые более мечтают о народе, чем знают, его. Запасшись ими, набаловавшись мастерскими один, два месяца, они отправятся на дело. Опять начинается старая песня. Все страшные провалы, кои были до сих пор, не научили, как видно, ничему товарищей наших. Провал прокламационистов, провал с рабочими фабричными и заводскими, провал с крестьянами в Ярославской губернии — ничего не указали. Московский погром: Войнаральский нашел типографию, которая взялась печатать нецензурные вещи (типография Мышкина), тюки с книгами пересылались в Саратов, один попался, с этого началось дело... в Москве арестованы две Лебедевы, Дубенские брат

[1] Такого течения решительно не было: напротив, все время чувствовался недостаток в книгах, о чем свидетельствует, между прочим, и Данилов.

и сестра, пять наборщиц... (как гласят слухи, еще арестован Войнар. бар и Варя), давно уже, (собственно почти одновременно с Войнаральским) взят Ковалик в Самаре... в Питере пока тихо — ждем».

Ободовская совершенно не представляет себе, что движение, будучи по природе стихийным, могло быть только убито, если бы главнейшие деятели его стали аналитиками. Нужно заметить, что во время написания приведенного письма, Ободовская[1] стала уже отходить от движения, пессимистический же ее тон, по всей вероятности, об'ясняется тем, что она готовилась быть матерью.

Продолжая рассуждение, начатое выше, считаю нужным заметить, что я совершенно отказываюсь от оценки движения с точки зрения его полезности или вредности. Для моей цели совершенно достаточно, рассмотрев все движение в совокупности, без произвольного рассечения его в том или другом месте, показать связь его с последующими движениями и произвести качественную его оценку, что, отчасти, уже и сделано в предыдущих главах. В них было выяснено, что движение создало партию, продолжающую, под разными наименованиями, существовать и доныне. Партия стремится все время связать свою судьбу с судьбою народа вообще и рабочих, в частности, но первую брешь в стене, разделявшей народ от интеллигенции, пробило несомненно стремительное движение молодежи в 1874 году в народ. До этого времени казалось невозможным найти точку соприкосновения между двумя столь различными средами. Молодежь сделала отчаянное усилие, перерядившись в народные костюмы, сблизиться, чего бы ей это ни стоило, с народом. В результате ничего эффектного не произошло, но первая тропинка была проложена, по временам она могла более или менее заростать, но не окончательно заглохнуть. Под влиянием брожения, семя которого было брошено в народ в 1874 г., в среде не только рабочих, но и крестьянства стали все чаще и чаще появляться лица, искавшие помощи интеллигенции в разрешении разных вопросов, касающихся их жизни. Поэтому интеллигенту все реже и реже приходилось прибегать к переодеванию и, наконец он стал появляться в народе в европейском костюме. В этом направлении, собственно говоря, действовали все исторические условия жизни русского народа, но далеко не последнюю роль играло



[1] Даже Ободовская, доходившая до полного отрицания движения в народ, не упоминает о случае поимки крестьянами пропагандистов и выдачи их властям. Очевидно, такие случаи, если и имели место, были очень редки. Между тем, прокуратура и жандармы, производившие дознание по политическим делам, создали легенду, что крестьяне сами переловили чуть не всех революционеров.

и самоотверженное, граничащее с подвигом, вторжение в народную среду интеллигентной молодежи в 1874 году. Силу и значение движения нельзя измерить числом сознательных рабочих и крестьян, воспитанных им. Это число, ничтожное в начале, растет, чрезвычайно медленно и только через значительный промежуток времени достигает такого размера, что удивленные современники задают вопрос, откуда взялись сознательные элементы? Многие просмотрели, таким образом, рост сознания в рабочей среде и готовы просмотреть то же по отношению к крестьянам. Между тем, современное освободительное движение выдвинуло значительный контингент сознательных крестьян. Откуда они взялись? Не следует ли в этом признать виновным, хотя отчасти, движение 70-х годов? Где нужно искать об'яснения сильного аграрного движения в Саратовской и других приволжских губерниях, в традициях ли только Стеньки Разина, или, хотя немножко, и в том обстоятельстве, что агитаторы в 1874 году, прежде всего, бросились туда? Поставить означенные вопросы — значит разрешить их. Заслуживает ли движение 70-х годов одобрения или проклятия, во всяком случае, оно оказало известное и при том не малое влияние на современное положение дел в крестьянстве и рабочей среде. Пусть кинематограф жизни не записал результатов этого явления в виде каких-нибудь выпуклых явлений или крупных фактов — он и не мог этого сделать, потому что внешние формы, в которых складывается жизнь народа, не изменились по существу — перемена произошла только в способах воздействия на народ и в степени сознательности лучших его представителей.

XIII.

Арест революционеров и попытка их возобновить прерванную деятельность.

Аресты лиц, принимавших участие в движении, начались очень рано. Еще в ноябре 1873 г. был арестован в Петербурге Синегуб и затем Тихомиров, Стаховский и др. Первоначальные аресты не дали властям материала для раскрытия всего хода движения. Началом настоящего погрома следует признать арест обитателей Саратовской сапожной мастерской. Здесь, кроме главного мастера Пельконена, были арестованы сестры Прушакевич, Юлия и Елена, Блавдзевичи, брат и сестра, Лемени-Мекедон и Андрей Кулябко, остальные скрылись. В мастерской найден склад изданий Мышкина, которые здесь брошюровались, и фальшивые паспорта — это был уже настоящий трофей. Здесь власти нашли нить, по которой постепенно добрались и до многих других деятелей, замешанных в революционной пропаганде.

Отобранные во время обысков записки и адреса, перехваченные на почте письма и откровенные показания некоторых свидетелей, а, частью, и самих обвиняемых, дали возможность властям в сравнительно короткое время раскрыть все главнейшие кружки — оставалось только перехватать членов их, рассыпавшихся по широкому пространству Европейской России. Сообразив, что в пропаганде замешано много лиц, связанных чем-то друг с другом, правительство в самом начале сосредоточило все дознание о преступной деятельности революционеров в руках начальника Московского жандармского управления генерала Слезкина и прокурора Саратовской Судебной Палаты Жихарева. В их распоряжении не было Лекоков, но халатность и отсутствие конспиративности у молодых революционеров вполне соответствовали патриархальному состоянию сыска того времени, и давали возможность производителям дознания — раз уже дело началось, — раскрыть очень много из революционной

деятельности. Большую помощь в этом отношении оказали первобытные шифры, которыми малоопытные люди записывали в свои памятные книжки адреса и вообще вели всякую переписку. Ключом к шифру, большею частью, служил подбор нескольких таких слов (иногда кратких стихотворений), в которых заключались все буквы алфавита. Каждая буква письма изображалась двумя цифрами, первая показывала номер по порядку слова в ключе, вторая — место данной буквы в слове. Вследствие короткости ключа буквы изображались почти всегда одною и тою же парою цифр, что облегчало разбор шифра даже в случае незнания ключа. Так называемый Гамбетовский буквенный шифр, несколько более обеспечивающий тайну переписки, еще не был тогда в употреблении. Но и не совершенный цифровой шифр применялся часто крайне неумело: то зашифровывались только отдельные слова, то в сплошь зашифрованном письме расставлялись, по всем требованиям грамматики, знаки препинания. Поэтому, стоило только угадать одно слово, и весь шифр сразу разбирался. Узнав, таким образом, ключ, можно было свободно прочитывать все перехваченные потом письма, написанные этим ключем. Из лиц, производивших дознание, прославился, или, может быть, вернее, прославил себя умением разбирать шифры один из товарищей прокурора, хотя каждый волостной писарь сумел бы сделать то же самое.

В самый разгар арестов уцелевшие, т.-е. «здоровые», как иногда называли их в отличие от «больных-арестованных» — агитаторы, преследуемые по пятам, пытались восстановить разрушенные организации, что им часто и удавалось на время. В местах, где наиболее свирепствовали аресты — в Саратове и Самаре — появились Войнаральский, Рогачев, Ковалик и Паевский и пытались связать уцелевших в новые организации. Обвинительный акт дает в этом отношении некоторый материал. Так вскоре после саратовского погрома Паевский писал Ковалику: «Лукашевич (нелегальная фамилия, которую носил Ковалик). Дела в Саратове очень хороши. Местные туземные силы соединяются в организацию. Семинаристы (признаться, народ не больно серьезный), сельские учителя и гимназисты вошли в один кружок (раз'ехались) и оставили при агентуре своего представителя. Есть несколько ночлегов и один притон в горах, на Большегорской улице — далее сообщался адрес. Организация страдает недостатком денег и не имеет вовсе сношений с рабочими». Рогачев писал о том же Войнаральскому, удостоверяя и с своей стороны, что дела идут хорошо, но при этом прибавлял, что заведены сношения с рабочими.

В других центрах — Самаре, Киеве и пр. делалось то же самое. Уцелевший из самарского кружка Остеликин, при уча-

стии Войнаральского и Ковалика, пытался возобновить дело, но скоро, должно быть в начале июля, был арестован вместе с Коваликом. Войнаральский незадолго до своего ареста, в июле, писал из Самары: «обыски прошли благополучно, паники нет, дела идут хорошо (в другом письме «великолепно»), недостаток лишь в деньгах. В Сызранском и Корсунском уездах (куда Войнаральский ходил по указанию плотников, которых ранее пропагандировал) я ходил, настроение отличное, завел у крестьян два наших пункта... В книгах страшный недостаток, и от крестьян большой на них спрос». Во время своего путешествия вместе с Надеждою Юргенсон по Ставропольскому уезду Войнаральский, между прочим, на одной городской квартире вел революционные беседы с приходившими к нему крестьянами. Узнав об этом от крестьян, сельский староста деревни Грязнухи заарестовал потом Войнаральского и Юргенсон, но приставленная стража бросила их на произвол судьбы, и они свободно ушли. Потом, при аресте Войнаральского, вскоре после этого события, у него найдена была записка, которую он приготовил было для отсылки во время своего ареста в селе. В ней Войнаральский писал: «Деревня Грязнуха Ставропольского уезда. Сейчас меня арестовали: убедительно прошу Каменского (в Пензе) и других все мои деньги употребить на народное дело и выдавать тому, кто пред'явит этот шифр. Это мое последнее завещание. Работайте же энергичнее по нашему делу! Друг Порфилий. 21-го июля 1874 года».

Понятно, что при такой энергии и самоотверженности, которые проявляли травимые агитаторы, им удавалось заварить новую кашу, привлекая к революционной работе не только уцелевших революционеров, но и новых людей, которые до того не успели еще определить своего отношения к движению.

Само собой разумеется, что новые организации провалились еще скорее, чем старые. Жандармерия уже имела в своих руках ключи к шифрам, которыми продолжали переписываться революционеры. Кроме того, некоторые из лиц, вошедших в новую организацию, были уже отмечены, как неблагонадежные. Очевидно, этот второй, меньший клубок распутать было еще легче, чем первый. Правда, конспиративность в этот арестный период революционной деятельности несколько увеличилась, но уже не могла спасти новые организации, скомпрометированные раньше, чем они выступили на сцену. Кроме того, сыск начинал также совершенствоваться — стали появляться «сознательные», если можно так выразиться, предатели. Саратовскую организацию предал рабочий Меркулов, Киевскую — некий Курицин. Как это ни странно на первый взгляд, но чаще всего спасала революционеров не конспиративность и осторожность, а напротив, подвижность и смелость, доходившая иногда до

дерзости. Между прочим, благодаря этим последним качествам, малоконспиративный киевский кружок сохранился дольше, чем организованный по всем правилам искусства одесский кружок.

Если сопоставить все, что нам известно о деятельности революционеров 70-х годов, то получится своеобразная система, более или менее согласованная в частях и вполне целесообразная и отвечающая условиям действительности. Выхватывая какую-нибудь часть из этой системы, легко подвергнуть ее критике и осудить. Такую частичную критику можно нередко услышать не только от людей, посторонних движению, но и от некоторых участников, как это мы видели на примере Ободовской. С первого взгляда кажется неоспоримым, что несовершенная организация кружков не могла обеспечить сколько-нибудь продолжительного их существования, что пойти на каторгу за несколько книжек или слов, сказанных крестьянам — слишком большая жертва, не окупающаяся достигнутыми результатами и т. п.,но все это будет частичная критика, производимая безотносительно условиям времени и места. Взятая в совокупности система семидесятников также хорошо отвечала условиям времени, как и все последующие организации, начиная от строго централистической Народной Воли и кончая современными социалистами-революционерами и социал-демократами. Недостатки организации вполне соответствовали несовершенствам, а страстность и доходящая до подвигов самоотверженность, с которыми интеллигенция бросилась в народ, представлялась единственным и вполне целесообразным средством для того, чтобы пробить брешь в китайской стене, отграничивавшей народ от культурных слоев.

Починка сети революционной организации продолжалась до осени 1874 года. К этому приблизительно времени были переловлены не только большинство революционеров первого периода (1873—1874 гг.), но и их родственники и знакомые. Правительство торжествовало победу, хотя, впрочем, и не надолго. Вскоре пришлось ловить новых деятелей, вошедших в состав так называемого процесса пятидесяти[1], а там новый под'ем настроения в 1876 году и т. д. вплоть до 80-х годов.

Число арестованных в 1873—74 г.г. доходило до нескольких тысяч. Правительство допустило с своей точки зрения крупную ошибку, соединив всю преступную деятельность арестованных в одно дело. Комиссия, производившая дознание, повидимому, поняла нелепость следствия и суда над тысячами и, волей неволей, должна была большую часть их освободить или вы-

---

[1] В настоящих записках не касаюсь деятельности лиц, вошедших в состав этого процесса. Они несколько усовершенствовали приемы практической деятельности и способ организации революционных кружков, но по существу ничем не отличались от деятелей процесса 193-х.

слать административным порядком на север. К следствию, производившемуся особо назначенным сенатором, оставлено было двести слишком человек, а суду предано 197 человек, из которых четыре умерло до начала суда; осталось 193 человека. Из числа преданных суду 179 человек обвинялись в том, что составили и принимали участие в противозаконном сообществе, имевшем целью в более или менее отдаленном будущем ниспровержение и изменение государственного порядка (2-я часть 250 ст. улож. о нак.). Большая часть этой категории и особо 12 человек обвинялись в распространении сочинений, имевших целью возбудить к бунту и неповиновению верховной власти (251 ст.). Остальные, со включением и некоторых из предыдущих категорий, обвинялись в разных отдельных преступлениях, между ними — Мышкин — в покушении лишить жизни Вилюйских казаков, арестовавших его при попытке освободить Чернышевского, и Эндауров в помощи из личных видов Войнаральскому. (Эндауров, между прочим, распоряжался деньгами Войнаральского).

XIV.

Чигиринское дело.

В предыдущих главах я не описывал знаменитого Чигиринского дела потому, что, во-первых, оно не вошло в большой процесс, и во-вторых, представляет такие особенности, которые с трудом укладываются в рамки общего революционного движения. Оно составляло как бы боковую ветвь движения, питавшегося не из главного корня, и потому не оставило никаких следов в дальнейшей эволюции революционного движения — ветвь была срезана и окончательно засохла. Тем не менее нельзя отрицать крупного значения за Чигиринским делом, созданным собственно тремя лицами: Стефановичем, Дейчем и Бохановским. Как все дороги некогда вели в Рим, так в последнее время все дороги в России, которыми шла радикальная и революционная молодежь, сходились в одном пункте — в под'еме самосознания крестьян. Поэтому a priori можно сказать, что «дело» имело влияние на крестьян Чигиринского уезда. Но быть может оно имело еще более значения для развития революциионного миросозерцания семидесятников — это миросозерцание нужно было очистить от примеси начал, не имеющих с ними ничего общего. Для этого понадобился крупный провал крупного дела.

Выше было показано, что, собственно, революционному периоду предшествовал народнический период движения. Пережитки его сохранились в отдельных умах вплоть до возникновения партии «Народной Воли». Амальгама этих двух крупных течений создавала иногда, хотя и ложные, но сильно действовавшие на умы известной части молодежи идеи. Во время движения, особенно в начале его, бывшие народники, увлекаемые страстною любовью к народу и желанием как можно скорее прийти к нему на помощь, часто останавливались на таких средствах, которые хотя имели и мало общего с революционной деятельностью, но казалось, могли дать непосредственный и скорый результат. Так, некоторая часть молодежи увлеклась идеей самозванства и думала, что если бы явился новый Пугачев в ка-

честве самозванного царя, то социальный строй России можно было бы изменить несколькими указами. Другие мечтали о том, что было бы недурно использовать с целью революционной пропаганды слухи, которыми, за отсутствием достоверенных сведений, питаются неграмотные люди. Говорилось, что умелым распространением тенденциозных слухов можно было бы повлиять в желательном направлении на миросозерцание народа.

Впрочем, все эти разговоры были обменом мечтаний и не имели практического значения. Тем не менее, они свидетельствовали, что в миросозерцании известной части молодежи существуют некоторые положения, усвоенные без критики и не мирящиеся с общим складом этого миросозерцания. Мечтания принимали иногда вид практических планов; так, в одном кружке намечали даже личность, которая могла бы разыграть роль самозванца — Дмитрия Рогачева, который, разумеется, ничего не знал о том, что высказывалось между делом известными ему людьми.

Как бы ни бесплодны были все подобные мечтания и разговоры, они показывали, что ловкий и имеющий популярность в рядах молодежи организатор какого-нибудь в этом роде фантастического предприятия мог бы рассчитывать на известный круг последователей и исполнителей. Такой организатор и нашелся в лице Стефановича, задумавшего воспользоваться царским именем для поднятия крестьянского восстания. За сотрудниками у него дело не стало.

Заслужив предварительно доверие крестьян, избравших его ходоком, он через полгода, в ноябре 1876 года, явился в их среду уже в качестве доверенного от царя и принес подложную царскую грамоту, приказавшую крестьянам соединяться в тайные общества. Сам он редко показывался крестьянам, но действовал, как опытный организатор и в короткое время успел создать большую боевую крестьянскую дружину. Я не буду распространяться, впрочем, о Чигиринском деле, так как оно уже неоднократно было описано и, между прочим, Туном. Скажу только несколько слов о разгроме дружины.

Во второй половине 1877 года арестовано было без малого 100 человек Чигиринских крестьян, принадлежавших к союзу, а вскоре затем и Стефанович с Дейчем и Бохановским, но им удалось бежать из Киевской тюрьмы. Аресты членов союза вызвали, конечно, плач жен и детей, но не сразу убедили крестьян, что грамота подложная. Сидя под арестом, иные продолжали верить, что Стефанович действительно царский посланник.

После нескольких мучительных месяцев содержания под стражей, сопряженного с большими лишениями, большая часть арестованных была освобождена, часть выслана и немногие приговорены судом к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.

Революционеры-народники в каторге и ссылке.

Процесс 193-х, происходивший в конце 1877 года, и два процесса, проведенные ранее этого времени (долгушинцев и пятидесяти), дали, совместно с полицейской расправой, свыше тысячи каторжан и ссыльных всякого рода. Во время существования партии «Народная Воля» царское правительство, напуганное красным террором, выдвинуло для борьбы с революционерами и всякого рода неблагонадежными элементами белый террор, во главе с военными судами. Для усиления этого террора правительство прибегло к своего рода «децентрализации» власти, предоставив генерал-губернаторам расправялться с революционерами, как им заблагорассудится. Особенно отличался при этом одесский генерал-губернатор Тотлебен [1] (военный инженер), пользовавшийся до того известным уважением в легальном обществе за свою деятельность во время войны с Турцией. Нигде расправа с революционерами не была так жестко проведена, как в его генерал-губернаторстве. Число ссыльных к 1880 году по всей вероятности превышало несколько тысяч, и оно еще увеличилось после убийства государя в 1881 году.

Для водворения государственных преступников были предназначены пять каторжных тюрем: две централки в Европейской России, верстах в 30 от Харькова, две централки в Сибири [2] и известная Карийская тюрьма за Байкалом, а впоследствии и Акатуйская. Некоторое время спустя устроена была тюрьма в Шлиссельбурге. Осужденные на житье в более или менее отдаленные места и административные ссыльные размещались по всему пространству обширной Сибири и Северной России; кроме того, ссыльные проживали и в некоторых городах (кроме северных) Европейской России.

Я не имею ни малейшей возможности описать жизнь ссыльных вообще, так как в каждом месте ссылки и в каждой каторжной тюрьме были свои порядки, и жизнь протекала различно.

---

[1] Правой рукой Тотлебена был Панютин, который и руководил им по части полицейской.

[2] В Сибири не было центральных тюрем для политических преступников; в Тобольском централе содержался некоторое время только один Фомин (настоящая фамилия его Медведев).

Поэтому я ставлю себе более узкую задачу: описать в общих чертах жизнь ссыльных в тех местах, где и мне приходилось в ней участвовать.

После суда по большому процессу первым был отправлен на каторгу Мышкин, так как суд не ходатайствовал о смягчении ему наказания и приговор о нем, как о лице непривилегированного сословия, не нуждался в утверждении государя. Он был отправлен в Новобелгородскую, близ Харькова, централку, где уже были заключенные политики; в другой централке Новоборисоглебской еще не было государственных преступников. Затем месяца два спустя, летом в 1878 г., из Петропавловской крепости вывезены были на каторгу я, Войнаральский, Рогачев, Сажин и Муравский и направлены в Новоборисоглебскую тюрьму. Повидимому, нас опасались поместить в Новобелгородскую тюрьму, чтобы мы не могли иметь вредного влияния на заключенных и, кроме того, предполагали устроить для нас более строгое заключение. Нас, по высочайшему повелению, заковали еще в крепости в кандалы. Хотя для сопровождения нас и назначено было 10 или более жандармов, но в вагоне мы чувствовали себя хорошо, так как могли после долголетнего одиночного заключения находиться в обществе своих, видеть в окно природу и свободных людей. Из Харькова в централку нас отправили по одиночке на почтовых с двумя, конечно, жандармами каждого.

Революционеры выследили в Петербурге день нашего отправления и предполагали по дороге из Харькова освободить кого будет возможно[1]. Организатором предполагавшегося освобождения был Фомин[2], который потом был арестован и содержался в Тобольской централке. Караулить нас назначены были Фоминым два человека, но они пропустили первых двух увезенных в централку, в том числе и меня, и напали на повозку, в которой везли Войнаральского, но неудачно — жандармам удалось ускакать с Войнаральским, хотя лошадь и была ранена покушавшимися на освобождение.

В централке нас сразу изолировали друг от друга и рассадили по одиночкам; никаких, не только каторжных, но и вообще работ нам не дозволялось, пища была такая же скверная, как вообще в тюрьмах — лучшим из этой пищи были хлеб,

---

[1] Раньше предполагали освободить Мышкина, но жандармы перехитрили освободителей и провезли не тем путем, за которым имелось наблюдение.

[2] Организатором попытки освобождения была группа: Квятковский, Фроленко, Баранников, Адриан Михайлов и М. Ошанина, державшая конспиративную квартиру на случай, если при попытке освобождения будут ранены. Фомин был привлечен для наблюдения за дорогой, по которой должны были вести отправляемых. Попытка не удалась, потому что Фомин не ждал отправляемых в назначенном месте, а ускакал верхом вперед, и вследствие этого не смог во время оказать помощь другим.

по 2½ фун. на человека, и квас. До нашего прибытия, как говорили арестанты, пища была несколько лучше, но однажды приехал для ревизии тюрьмы генерал Гейнц, брат известного Фрея, основателя коммуны в Америке, и нашел пищу чересчур хорошей для каторжников — понятно к его приезду приготовили как можно лучше обед — и по его представлению приварочные, отпускавшиеся для содержания арестантов, были сокращены вдвое. Между заключенными свирепствовали цынга и другие болезни, так что в один год из штата арестантов в 500 чел. умерло 150 каторжников уголовных. Выходя на прогулку, я проходил мимо сарая, в котором содержались трупы заключенных до похорон; я менее чем в год насчитал 50 трупов. Я не имею основания обвинять в этих печальных последствиях тюремного заключения смотрителя тюрьмы. После несчастного случая с его дочерью (она опалила себе лицо) он, по рассказам арестантов, стал относиться к ним настолько гуманно, насколько может позволить себе смотритель. С нами он вел себя вполне прилично, и иногда и благожелательно, так что, вопреки намерениям высшего начальства, мы очутились в несравненно лучшем положении, чем товарищи в Новобелгородской тюрьме. Там сидело более 20 чел., было несколько смертных случаев и два или три человека впали в полное сумашествие[1]. Правда у нас также не обошлось без смертного случая: умер Муравский, самый старший член нашей колонии. Ему в момент смерти было вероятно не менее 45 лет. На его смерть могла влиять тюремная жизнь вообще, но не специфические условия нашей тюрьмы. Остальные члены нашей колонии тоже вышли из молодого возраста. Мне при поступлении в централку было 32 года, Войнаральский и Сажин были на два или один год старше меня и только Рогачев был сравнительно молод — ему было лет 26; следовательно, все мы пережили уже бури молодости, и может быть, поэтому сравнительно хорошо сохранились в тюрьме.

Само собой разумеется, что мы не замедлили войти в сношения между собой, путем переписки в книгах и стука. Самым неприятным в нашей жизни было лишение книг; нам давали только евангелие и книги духовных журналов, в том числе и газету «Церковный Вестник», в которой по нескольку строк посвящалось политическим событиям вне и внутри России. Это давало нам иногда возможность узнавать кое-что и о революционной деятельности, правильнее, отдельные факты. Даже такие отрывочные сведения нам доставляли боль-

---

[1] В действительности число психических заболеваний было значительно больше; см. М. М. Чернавского об Ип. Мышкине в № 1 „Каторга и ссылка“ за 1924 г. Ред.

шое удовлетворение и в то же время вызывали обмен мнений. Муравский, бывший народником еще в шестидесятых годах, за что и был в свое время осужден, не мог примириться с террором, как политическим действием, и пытался приобщить нас к своей точке зрения. Ему казалось, что народнические идеи потерпели полное крушение. Мы же остальные полагали что перемена фронта революционной деятельности являлась неизбежной эволюцией ее. Споры этого рода мы вели посредством переписки в единственных книгах, которые мы получали, т.-е. в духовных журналах. Чтобы как нибудь провести время, мы, конечно, читали статьи этих журналов, но большинство из нас интересовалось не самой «духовной» пищей, предлагаемой журналом, а лишь логическим построением статей. Только Муравский и отчасти Рогачев нашли в журналах отклик на сохранившуюся в их душах потребность религиозной веры. Особенно Муравский стал глубоко верующим человеком, но, конечно, его религия отличалась от официальной православной религии. Нас время от времени посещал священник и вел с нами всякого рода беседы, но всегда на религиозные темы. Особенно он полюбил Муравского, с которым и беседовал подолгу. Впоследствии, когда Муравский умер, священник, при отпевании его, произнес перед арестантами речь, в которой уверял их, что умерший — святой, и рекомендовал молиться этому новому святому, чтобы он и им предуготовил царствие небесное. По праздникам мы ходили в тюремную церковь к обедне; здесь нас ставили по углам, каждого отдельно, при тюремном надзирателе, но мы все таки могли видеть друг друга и уголовных каторжан.

Арестантский пищевой режим и вообще содержание проводились, в первый год нашего пребывания в централке, в полной строгости; основою пищи, как я уже упомянул выше, был черный хлеб. Одежда наша состояла из серой куртки арестантского сукна, таких же брюк, шапки и котов; еще необходимым элементом одежды были подкандальники, чтобы кандалы не натирали ног. В этой же одежде мы выходили зимой на прогулку. Единственной спальной принадлежностью был кусок войлока в аршин шириной и 2½ арш. длины; кроватью служила деревянная нара с косо поставленной доской в изголовье. Сообразительности каждого предоставлялось, как воспользоваться войлоком: подстилать его под себя на нару или укрывать половину туловища. Я устроился на ночлег так: шапку клал вместе с курткой в качестве подушки, войлок стлал поперек кровати и свободной его частью прикрывал туловище до ног, на ногах же спускал брюки, так чтобы они прикрывали не только ноги до ступней, но и ступни. Баней мы пользовались по одиночке.

На второй год нашего заключения в централке, особенно когда почувствовалась в воздухе Лорис-Меликовская «весна», мы стали получать разные льготы. Прежде всего в случае болезни политического каторжанина, выдававшийся ему на время ее течений тюфяк, набитый соломой, такая же подушка и суконный халат оставлялись в его пользование и по выздоровлении. Мне случилось последнему получить эту льготу, после того, как я проболел лихорадкою. Пища во время болезни выдавалась лучшая — суп из фунта (по положению) мяса и 1 фунта белого хлеба, вместо черного. По выздоровлении я не мог заполучить доктора, чтобы перевестись на обыкновенную пищу, и страшно голодал, не зная, как распределить на весь день фунт белого хлеба. Затем нам, — уже впрочем незадолго до выезда из централки, — разрешили расходовать свои деньги на улучшение пищи. Одного только нам не решались дать — это разрешение на свидание с родными, хотя в Новобелгородской тюрьме эти свидания происходили. Наконец, незадолго до выезда из централки нам позволили днем находиться вместе. Как раз в это время к нам привезли из Новобелгородской тюрьмы Мышкина. Мы увидели его страшно изменившимся. Не говоря о том, что он исхудал, бросилось в глаза его нервное состояние; мы боялись, что оно может кончиться сумасшествием. Перевод Мышкина в нашу тюрьму спас его. В Новобелгородской тюрьме он дал пощечину смотрителю, и не подлежит сомнению, что он кончил бы смертью или полным душевным расстройством, если бы не попал к нам в лучшие условия жизни. За пощечину он не был подвергнут никакому наказанию—его признали нервно-больным. Он поразил нас своими рассказами о том, что происходило в Новобелгородской централке, где уже два или три человека лишились рассудка, но когда мы увидели потом заключенных в той тюрьме, рассказ Мышкина показался нам бледным — так ужасен был их вид[1].

Перед концом нашего пребывания в централке для нас устроена была столярная мастерская, под руководством мастера из уголовных. Некоторые из нас, в том числе и я, проявили значительный интерес к работе, и в несколько месяцев я изучил столярное ремесло. Сделанные нами вещи кому-то продавались, но нам от этого ничего, кажется, не перепадало, и мы работали из любви к искусству.

Наконец, в один прекрасный день нас увезли на лошадях в Харьков, где мы встретились с новобелгородскими централистами. Начальство в это время относилось к нам очень любезно и даже, для отправки нас на вокзал, губернатор распорядился подать нам извозчичьи пролетки. Перед от'ездом он

---

[1] См. об этом в указанной статье М. М. Чернавского. *Ред.*

посетил нас и выражал готовность удовлетворить все наши просьбы [1]. В городе мы не успели наговориться с товарищами из другой централки, но по железной дороге разговорам не было конца; впрочем, временами наше вообще радужное настроение омрачалось случаями припадков и обмороков с новобелгородцами. Из этих последних особенно поражали нас своей исхудалостью Джабадар и бывший до ареста бравым детиною Серяков и Виташевский, будущий автор воспоминаний о централке [2].

В октябре 1880 года мы более или менее благополучно добрались до Мценской (Орловской губернии) пересыльной тюрьмы, которую Виташевский не без основания называет мценской гостиницей [3].

С переездом в Мценск, мы получили большее число свобод, чем обыкновенно значится на либеральных платформах. Кажется, нам не дали только одной свободы — выходить за пределы тюремного двора. В нашем полном распоряжении оказалось несколько комнат, одну из которых мы предназначили для столовой и общих собраний — форум, как мы называли их в шутку. Мы получили даже свободу писать и отправлять по почте письма без всякого контроля. Свидания с родными и знакомыми были также совершенно свободны. Для них была отведена особая просторная комната, куда приходили с разрешения смотрителя все желающие видеться с нами. Зачастую на свидания приходили не только родственники явившихся лиц, но и другие заключенные. Частности нашей жизни в Мценске описаны Виташевским; я не буду повторять их и ограничусь освещением только некоторых сторон нашего быта. В Мценске мы прожили более полугода до открытия навигации в 1881 г. По докладу какого-то из ревизоров, посетивших централки, власти пришли к заключению — тогда заботились и об этом, — что центральные тюрьмы вредно действуют на наше здоровье, и решили переселить нас в Сибирь, в Карийскую каторжную тюрьму.

У нас в Мценске оказались все признанные судом главарями по трем процессам — большому, долгушинцев и процессу пятидесяти. На более молодых товарищей это могло производить известное впечатление. Виташевского мы считали тоже молодым, хотя ему было, вероятно, более 20 лет; из самых молодых я помню Сыцянко и Легкого, судившихся в Харькове. Их обвиняли в том, что они в доме отца молодого Сыцянко, профессора университета, хранили вещи, предназна-

---

[1] Любезность и предупредительность губернатора могла быть следствием казни революционерами его предшественника Кропоткина.

[2] „Былое" 1906 г. , апрель.

[3] „Былое" 1906 г., июль.

ченные для взрыва царского поезда, но сами не принимали никакого участия в деятельности террористов. Кстати замечу, что с ними же судился Данилов, известный потом революционер, имевший уже и тогда некоторое прошлое, и этот-то Данилов был, кажется, единственным человеком, оправданным по процессу. Виташевский в своих воспоминаниях утверждает, что для многих пребывание в Мценске было началом серьезной революционной школы. Он, между прочим, отмечает выдающуюся личность Мышкина, но я должен заметить, что в Мценске Мышкин не мог проявить своей энергии. Он еще в централке весь отдался мысли о побеге из тюрьмы и в этом деле проявил большую наблюдательность и неутомимую энергию, при полном, по наружности, спокойствии духа. Впоследствии, заметив, что Мышкин внешне успокаивался, я безошибочно угадывал, что он обдумывает какой-нибудь план побега для себя или товарищей.

В Мценске мы застали несколько человек административно-ссыльных, в том числе Ивана Дебогория-Мокриевича, брата известного революционера Владимира. Этот Мокриевич был когда-то инициатором кружка американцев, имевших намерение основать в Америке коммуну. Впоследствии и он, на ряду с другими американцами, принял участие в революционной деятельности, но в нем был заметен уклон в сторону конституционализма. Административные ссыльные рассказали нам кое-что из современной деятельности народовольцев, но еще более осведомили нас лица, приехавшие на свидание с нами. Таких лиц набралось чуть ли не до 40 человек. Одних родственников нашего товарища Льва Дмоховского было человек пять. Многие из приехавших в то время видеться с нами кое-что знали о положении революционного дела в России, между ними был и один партийный человек — офицер Рогачев, впоследствии повешенный, брат Дмитрия Рогачева. Наш Рогачев считался в Мценске и впоследствии на Каре первым силачем, но его брат превосходил его физической силой в несколько раз. Он, между прочим, рассказал, как ему пришлось вынести на себе, под офицерской николаевской шинелью, целую тайную типографию (шрифт). Он ознакомил нас с бывшими до того времени покушениями на жизнь царя и говорил, что в обществе чуть не в большей степени, чем в среде революционеров, была уверенность, особенно после взрыва в Зимнем дворце, что покушения будут продолжаться и кончатся успехом террористов. По его словам, знакомые из общества спрашивали его: — ну скоро ли будет конец? т.-е. новое удачное покушение. Вместе с теми сведениями, которые мы получали от вольных людей на свиданиях, мы кое-что могли почерпнуть из газет, свободно к нам допускавшихся, и из нелегальных изданий. Газеты пер-

вое время вызывали у нас большой интерес, но так как все тридцать человек не могли их прочесть в один день, то газеты передавались мне и Мышкину, и мы каждый вечер делали товарищам в столовой доклады по содержанию прочитанного. Партия «Народной Воли» пользовалась у нас большим сочувствием, но всю программу ее целиком едва ли кто признавал. Я отметил уже уклон в сторону конституционализма; были также уклоны и в сторону анархизма и народничества. Большинство, очутившись на воле, конечно, пристало бы к народовольцам, но, обсуждая программу партии теоретически, не могло не видеть в ней некоторого компромиссного характера между политикой и социализмом. Сколько мне помнится, я проводил мысль о том, что по достижении главной в то время цели партии—цареубийства—необходимо изменить программу деятельности партии, тем более, что, как я предвидел, после цареубийства партия должна быть разгромлена и возобновление старого девиза—цареубийства—не встретит такого, как прежде, сочувствия у людей, вновь вступивших в ряды партии. Но разговоры разговорами, а когда мы узнали о цареубийстве 1 марта, то не замедлили отпраздновать этот акт в особом собрании в нашей столовой. Празднование прошло оживленно и даже с выпивкой.

В нашей, в общем, хорошо проведенной жизни в Мценске встречались, к сожалению, и неприятные стороны. Прежде всего это — присутствие в нашей среде товарищей с расстроенными умственными способностями. Тяжело было видеть Боголюбова, который в высшей степени раздражения кричал, что в централке один из самых уважаемых товарищей переоделся в жандармский костюм и обходил камеры заключенных, но еще тяжелее было слушать другого, впавшего в безумие, который вполголоса отвечал на все задаваемые ему вопросы бессвязными фразами; в них только и можно было уловить слова: «три пеклеванника», «фунт хлеба» и т. п. Перед концом нашего пребывания в Мценске их увезли в Казань. Но все это— отдельные случаи, которые вызывали только соболезнование. Еще более печально было расхождение и даже отчуждение, наблюдавшееся между двумя группами, на которые делились заключенные. Во главе одной группы стояли участники процесса 193-х и долгушинского, а во главе другой — грузины из процесса 50 и Мышкин. Трудно было уловить, как началось расхождение. Сперва появилось некоторое различие в чисто теоретических суждениях. Затем, когда часть заключенных стала примыкать к судившимся по процессу 193-х и даже образовался особый кружок, ставивший себе целью привлечение в него ссыльных, которые будут встречаться на его дальнейшем пути, и содействие к побегам из ссылки, лица, не пригла-

шенные в кружок, стали еще более удалятся от членов и сближаться между собой. В конце концов тюрьма разбилась на два лагеря, хотя видимо и не враждовавшие, но более или менее резко разграниченные. Я помню только один случай, когда обе группы явно столкнулись между собой. Это произошло по вопросу о получении запрещенной литературы в тюрьме. Одна группа защищала право хранения литературы в тюрьме, другая считала хранение ее при настоящих условиях недопустимым. Я лично относился безразлично к этому вопросу и потому не помню, какая именно группа требовала недопущения хранения нелегальной литературы. В связи со всеми этими недоразумениями были отдельные случаи прекращения разговаривать между лицами, принадлежащими к различным группам, но вообще отношения были довольно мирные. Однажды грузины получили из дому кавказское вино и как-то, показалось мне, неловко предлагали его другой группе. Тогда я сказал небольшую речь самого простого содержания о том, что все недоразумения наши возникли из ничего и что мы должны, как и вначале, составлять дружное общество. Речь моя была самая простая, и я не мог проявить в ней ораторского таланта, если бы таковым обладал. Виташевский был один из тех, которые, по свойству своей души, наиболее страдали от товарищеских несогласий, и потому его описание, как после моих слов все недоразумения сразу были прекращены, придает какое-то необыкновенное значение моей речи. После взаимных приветствий с окончанием недоразумений вечер закончился общей выпивкой и общим весельем.

Пребывание наше в Мценске оставалось не безызвестным в местном обществе и вообще Орловской губернии. Однажды к нам на свидание приехала одна орловская помещица, занимавшаяся в своем имени культурною деятельностью среди крестьян. Не принадлежа ни к какой политической партии, она, узнав о нашем пребывании в Мценске, решила посетить нас, хотя никого не знала лично, и рассказать, что делается вообще в Орловской губернии и в ее имении. Появление ее подтвердило слова Рогачева о том, что и нереволюционная публика интересуется деятельностью партии и ее прошлыми и настоящими деятелями.

После 1 марта положение наше не изменилось — никаких репрессий мы не испытывали и понемногу стали готовиться в путь, в отдаленную Сибирь. Путешествие наше началось в мае 1881 года.

Несмотря на все удобства, которыми мы пользовались в Мценске, мы без всякого сожаления оставили тюрьму, и только необходимость расставаться с нашими ежедневными посетителями нас огорчала. Впрочем, часть этих посетителей, жены

и даже сестры наших товарищей, получили право следовать за своими родными, и мы надеялись иногда, во время остановок, видеться с ними.

По пути мы останавливались в Тобольской тюрьме, где кое-кого из своих оставили и где к нам присоединили несколько человек. В Тобольске, или в другом месте, к нам присоединили и женщин: Евгению Фигнер, сестру Веры Николаевны, Грязнову и еще двух или трех. Без всяких приключений по сухому и водному пути мы добрались до Томска, откуда собственно начинался этапный путь. По положению мы должны были итти пешком и делать в день 25 верст, от этапа до этапа, с дневкою через каждые два дня в третий, так что до Иркутска мы должны были добраться месяца через два.

Указанная скорость движения была строго соблюдена, но вместо путешествия пешком нам давали подводы, одну на каждых двух человек. Некоторые, впрочем, весь путь совершили по собственной охоте пешком, рядом с подводами. Особенно неутомимыми ходоками оказались грузины, а между ними Цицианов. Отправляясь с одного этапа, они вступали между собой в теоретические споры, которые и кончали на следующем этапе, когда товарищи уже суетились для приготовления себе пищи. Во время пути нам выдавались небольшие кормовые деньги, которых при дешевизне продуктов в Сибири почти хватало. Для приготовления пищи на этапах мы разделились на группы от 3 до 5 человек и каждая группа ела то, что хотела. Со мной в группе были Петр Алексеев и Буцинский. Почти каждый день мы готовили себе большой котелок молока с тертым картофелем и закусывали пшеничным хлебом.

В пути, как и в Мценске, старостой у нас был Войнаральский, который имел сношения с начальством, получал кормовые и делал для нас некоторые общие закупки. Много развлекал нас в пути Дмоховский, которого мы все очень любили. Во время революционной деятельности он был «сердцем» кружка, тогда как Долгушин был главою его. Дмоховского особенно смущали резкие и двусмысленные с элементами сальности слова. Поэтому мы иногда нарочно изощрялись при нем в двусмысленностях. Для характеристики наших школьничеств приведу следующий случай: я поспорил с Дмоховским и держал с ним такое пари: если я в течение дня не скажу ни одной двусмысленности, то он должен подежурить за меня день по разливке чаю, в противном случае я дежурю за него. Я нарочно подыскал такие выражения, которые при желании можно было истолковать как двусмысленные. Дмоховский ловил меня, и мы призывали третейских судей, которые признавали, что в моих словах не было никакой двусмысленности. Так повторялось целый день, и в результате Дмоховский признал,

что он должен дежурить за меня — впрочем, это уже было в конце нашего этапного пути в Иркутск. Весьма понятно, что, живя полдня среди природы и не имея никаких серьезных забот, мы настраивались на добродушный лад и в свободное время предавались шуткам.

Пройдя более половины пути, мы заметили, что некоторая часть наших товарищей испытывает своеобразное утомление не от понесенных трудов в течение дня, а от однообразия жизни. Однажды небольшая группа товарищей поставила на общее обсуждение вопрос о понуждении начальства ускорить наше путешествие, заменив этапное путешествие перевозкою на почтовых лошадях. Я особенно резко восстал против этого предложения и старался показать всю нелепость требования, чтобы нас поскорее посадили в тюрьму. Предложение, конечно, провалилось.

Во время нашего путешествия у нас не было никаких столкновений с начальством. Только один раз произошло небольшое недоразумение с полковником Загариным, начальствовавшим по пересылке арестантов. Аптекман высказал ему несколько резких слов; на том, кажется, и окончилось дело.

Уже к осени мы прибыли в Иркутск и просидели в тамошней тюрьме всю зиму. Здесь мы похоронили своего любимого товарища Дмоховского. Я провел с ним в больнице, для необходимой ему помощи, несколько дней и первый раз в жизни видел умирающего. Дмоховский до самого момента смерти сохранил бодрость духа. При отпевании его нам разрешили быть в церкви и даже не препятствовали Мышкину сказать после отпевания речь. Кроме нас, в тюремной церкви присутствовало несколько простых, не интеллигентных женщин, пришедших просто помолиться, не зная ничего о предстоящем отпевании. Мышкин начал свою речь изображением горя родных Дмоховского, находящихся вдалеке и узнающих о смерти дорогого человека. Он так красноречиво описал это горе, что упомянутые выше женщины начали подносить платки к глазам, священник тоже слушал добродушно. Но вскоре затем Мышкин перешел к причинам смерти и повышенным тоном начал говорить, умершего замучили власти. Священник растерялся и сперва только повторял «врет», «врет», но затем остановил речь оратора. За свою речь Мышкин осужден был особым судом для арестантов на пятнадцать лет каторги, так что ему в общем приходилось провести в каторге 30 лет.

В Иркутске во время нашего там пребывания был прокурором отец Долгушина [1], который и приходил к нему иногда на

---

[1] Отец Долгушина был прокурором не в Иркутске, а в Красноярске. Срок каторги Долгушина был увеличен за содействие побегу Малавского из Красноярской тюрьмы. После этого Долгушин был отправлен на Кару и лишь

свидание. Когда нас отправили на Кару, нашему Долгушину удалось остаться на время в Иркутске, там его привлекли по какому-то делу, осудили и в конце концов отправили в Шлиссельбург, где он и умер. Сажин, осужденный всего на 4 или 5 лет каторги, уже кончил ее и не был отправлен с нами на Кару.

В Сибири — вероятно по дальности расстояния — еще не были погашены Лорис-Меликовские веяния, как это видно из поведения нашего начальства. Перед отправкою на каторгу нам хотели обрить головы, но наш староста и несколько товарищей довольно резко запротестовали против бритья перед местным полицеймейстером. Он обещал прислать комиссию врачей для освидетельствования нас. Вскоре явилась комиссия и начала опрос заключенных по одиночке. Врачи задавали вопросы — не болит ли голова, нет ли того или другого, и довольствуясь каждою указанною заключенным болезнью и просто болью, признавали, что он не подлежит бритью. Особенно долго бились врачи с Александровым: он отрицал у себя все болезни; наконец, его спрашивают, не чувствует ли он боли в ноге во время ходьбы, или что-то в этом роде, и когда услышали ответ «да», сейчас же постановили его освободить от бритья.

Из Иркутска на Кару мы выехали на почтовых, а не по этапу, в начале 1882 года и через небольшое время достигли места своего назначения.

Наша партия с шумом ввалилась в камеры карийских каторжан и обошла их по порядку. Нам бросились в глаза изможденные лица каторжан и, как будто, усталый их вид; мы же произвели на них впечатление свежих людей, что и выразил один из старожилов вырвавшимся у него замечанием ироничеcкого характера. «Вот они заживо погребенные». Карийцам уже известна была приписываемая Долгушину брошюра о централистах под этим заглавием. При входе нашем в тюрьму случайно впереди были самые здоровые и даже краснощекие товарищи, что и вызвало вышеприведенное замечание.

На Каре мы, осужденные по процессу, бывшему в 1878 г., не встретили почти никого из старых знакомых. Большинство карийцев было осуждено во время белого террора, но некоторые из нашей партии, напр., Буцинский, встретил много знакомых лиц. Чуть ли не весь кружок, к которому принадлежал Буцинский, оказался на Каре: Ефремов, Березнюк [1], Яцевич. По-

---

вслед за побегом оттуда восьми человек был перевезен с некоторыми другими товарищами сперва в Петропавловскую крепость, а потом в Шлиссельбург. *Ред.*

[1] Березнюк не принадлежал к кружку. Он был приглашен революционерами лишь для того, чтобы при попытке освобождения Фомина сыграть роль жандарма, которому будто бы поручено взять Фомина из тюрьмы. *Ред.*

следний по возрасту был чуть ли не самый молодой из карийцев — во время суда он был несовершеннолетним, — но уже пользовался среди товарищей большим уважением. Довольно много карийцев взято было в сфере деятельности генерал-губернатора Тотлебена и вообще большинство захвачено было в Украине и на юге России. На Каре мы застали человек 80, так что вместе с ними число заключенных было 100 или более.

Заключенные были размещены в пяти камерах, называвшихся: Синедрион, Дворянка, Якутка, Харчевка и Волость. Конечно, этими названиями не определяется вполне характер населения камер, но кое-что они давали. В Синедрионе помещались видные революционеры-конспираторы, но между ними были и случайные люди, напр., если не ошибаюсь, там сидел Овчинников, бывший уголовный, но примкнувший тесно к революционерам, так что многие и не знали о его прошлом.

В Синедрионе велся самый конспиративный подкоп, так что при обыске, даже более или менее тщательном, могли его не найти — все щели, ямы и пр. заделывались основательно после ночной работы, а во время ее назначаем был особый караул, следивший за тем, что происходило вокруг тюрьмы, и долженствовавший дать, в случае опасности, тревожный звонок. Разумеется заключенные из других камер знали о подкопе, но в подробности его не были посвящены. Душою всего дела обыкновенно считали Попко, прикованного к тачке и потому не имевшего возможности лично заниматься работами по подкопу. Я полагаю, что, вернее, душою дела следует считать всех выдающихся членов Синедриона, к числу которых можно отнести Волошенко, Попова (Родионыча) и Яцевича; но я вполне соглашаюсь, что наиболее выдержанным среди них был Попко; его ценили еще на воле, как вполне убежденного революционера. После крупных арестов революционеров народников в 1874 г. движение среди молодежи не прекращалось, и они вторично пережили борьбу лавристов с революционерами бунтарями. Попко, после того, как стал сознательным революционером, долго разделял программу лавристов, которая часто сводилась на ничегонеделание, но когда начались отдельные террористические акты, он примкнул к террористам и лично убил барона Гейкинга в Киеве, считавшегося одним из самых вредных представителей правительства. Знакомясь с жизнью террористов, я вынес впечатление, что самые выдающиеся из них отличались большим добродушием и в обыденной жизни не могли видеть без боли страданий людей и тем более крови. Попко принадлежал к такого рода типам.

Харчевка получила свое название потому, что там вечно варили и жарили пищу, не довольствуясь обще-тюремной. Чтобы иметь возможность приобретать эту пищу, кто нибудь

из харчевцев не отдавал присылавшихся ему с воли денег в общую тюремную кассу. Главою Харчевки можно считать Юрковского, известного своим выдающимся ограблением казначейства с революционной целью. На Каре я увидел его физически совершенно разбитым, но еще бодрым духом; симпатиями среди товарищей он мало пользовался. В одной камере с ним сидел Баламез, еще молодой сравнительно человек, к которому большинство относилось отрицательно. Во время следствия по процессу, в котором он участвовал, Баламез давал «чистосердечные» показания, на Каре же он вел себя, как крайний революционер, готовый рубить направо и налево, не разбирая, кто падет под ударами. Разумеется, все это были только слова... но тем не менее они производили неприятное впечатление. Подкоп в Харчевке начали вести, кажется, ранее Синедриона, но без соблюдения особой конспиративности; синедрионовцы были уверены, что начальство знает об этом подкопе.

Дворянка и Якутка не представляли ничего особенного. Эти камеры населены были средними революционерами. Волость отличалась до некоторой степени более слабым, чем в других камерах, проявлением революционных интересов и на общих сходках чаще всего стояла за более умеренное решение вопроса. Обитатели ее представлялись хорошими мужичками-обывателями, готовыми помочь всякому полезному начинанию, но мало способными стать во главе дела. Я, впрочем, должен оговориться, что делаемая мною характеристика Волости условна и под нее нельзя подвести всех ее жителей. Между прочим, Волость была чем-то в роде больницы с доктором Веймаром во главе. Сам Веймар не подходил под сделанную выше характеристику и представлял собой особый тип революционера, а может быть только сочувствующего революции.

Как известно, Веймара суд[1] признал виновным в таких деяниях, которые он не совершил. У нас на Каре он лечил не только заключенных, но иногда, хотя и редко, его вызывали и на волю. Я помню очень характерную картину, как Веймар лечил людей со слабыми легкими, склонных по его мнению к чахотке. Он сам сидит в коридоре, в центре круга, и сжигает на блюдечке серу, вокруг него располагаются его пациенты и, вдыхая образующуюся серную кислоту, все время сильно кашляют. В то время сернистая кислота считалась самым хорошим средством для слабогрудых.

Мы, приезжие, разместились по камерам совершенно случайно и только, кажется, не попали в Синедрион, так как все места там были заняты. Мы довольно скоро познакомились с карийцами. В нашем распоряжении были целые дни с утра до

---

[1] См. заметку Германа Лопатина в „Былом“, март, 1907 г.

вечера, так как ко времени нашего приезда работы в рудниках для политических каторжан были прекращены. Карийцы очень жалели об этом, так как работы вне тюремной ограды, при том не особенно утомительные, приносили только удовольствие, и кроме того могли являться планы о побегах с работ. Мы застали только мастерскую за пределами тюремной ограды, в которую под конвоем могли ходить все желающие работать.

В тюрьме мы все делали для себя сами: мы мыли полы в камерах и коридорах, готовили на кухне обед и прочее. У нас выделился особый кадр поваров, которые изо дня в день проводили время свое на кухне в приготовлении обеда, за что они пользовались особым уважением с нашей стороны. Для разноски приготовленного обеда назначались нами особые дежурные по очереди. Однажды поварам показалось, что кто-то из заключенных обидел их своим суждением о качестве обеда и они произвели своего рода забастовку, отказавшись стряпать. Чтобы выйти из затруднения, я, не имея никакого понятия о кулинарном искусстве, взялся быть поваром, а один из поваров был в это время дежурный по кухне. Я фактически обратился в дежурного, а повар стал за меня стряпать. Обед вышел вкусный — тюрьма нас похвалила, все посмеялись, и инцидент был благополучно окончен. Содержание у нас было удовлетворительное. К продуктам, отпускаемым из казны, мы добавляли кое-что из собственных средств, и обед выходил сносный, а когда мы хотели устроить какой-либо праздник или просто улучшить обед, то приготовляли пироги, составлявшие для нас лакомство. Чай и табак сначала давались в неограниченном количестве, а потом, при уменьшении наших средств каждому отпускалось в месяц 75 коп. — т.-е. не самые деньги, а право расходовать их, — и мы должны были изловчаться купить на них и чай, и табак, и пр., что уже было затруднительно. Только для единственного в тюрьме заключенного, именно Данилова, и этой суммы оказалось много, и он, скопив деньги за несколько месяцев, заказывал для своей камеры пирог. Данилов отрицал для себя все удовольствия и вел жизнь анахорета. Только в конце своего пребывания в Сибири, когда он жил в Средне-Колымске, разрешил себе вино и елей, т.-е. обыкновенную пищу, и даже любовь — он жил в безлюдном месте около Колымска с якуткой.

Внутри тюрьмы мы ни надзирателей и никакого начальства не знали вплоть до побегов, о которых речь будет ниже. У нас была почти полная республика, и только утренняя и вечерняя поверки напоминали нам, что о нас печется начальство.

Мы уже не застали на Каре коменданта полковника Кононовича, который, будучи военным начальником каторги, проявлял свой либерализм. Мы уже не застали вольной команды,

т.-е. каторжан, живущих, по истечении известного срока заключения в тюрьме, на воле в Карийском поселении, но на тюремном пайке. К Кононовичу приходили на дом каторжане из вольной команды, кажется, даже из тюрьмы, и беседовали о разных возвышенных предметах. Впрочем, я встретил у знавших Кононовича карийцев двойственное к нему отношение: одни расхваливали его как могли, другие, напротив, относились к нему отрицательно. Дальнейшая деятельность Кононовича, по оставлении им должности коменданта, наводит на мысль, что хвалившие его были до известной степени правы.

На Каре была недурная библиотека, но во время «свобод» заключенные сравнительно мало занимались науками и больше думали о побегах, чем о литературе.

На Каре в вольном поселении проживало несколько женщин совершенно свободных, но последовавших за мужьями или сыновьями и приходивших к нам на свидания, происходившие впрочем не в самой тюрьме. Они кое-что приносили своим родным, но иногда получали помощь из тюрьмы.

В нашей тюрьме сидели только мужчины. Для женщин каторжанок была отведена тюрьма, кажется, на Усть-Каре, и мы изредка переписывались с ними. У женщин тюремные порядки были заведены приблизительно те же, что и у нас. Особых историй там не было, и только после репрессий у нас, вызванных побегами, женщины тоже волновались. Ужасные истории с сечением Сигиды и самоотравлением женщин и нескольких мужчин случились гораздо позже, в конце восьмидесятых годов, когда я и ближайшие мои товарищи были уже на поселении в Якутской области.

Жизнь карийских каторжан произвела на нас, вновь прибывших в тюрьму, удручающее впечатление; на лицах многих, особенно в Дворянке, Якутке и Волости, заметно было как бы утомление, которое вызывало у нас предположение, что тюрьма пережила какой-то острый кризис; синедрионовцы и харчевцы, занятые делом (рытьем подкопов), имели более бодрый вид. Как оказалось, задолго до нас в тюрьме происходили недоразумения, вызвавшие взаимное охлаждение [1]. Живой общественной жизни, которую мы ожидали встретить в Карийской республике, не было; по какому нибудь общественному делу соберутся, и то не все, на сходку, сравнительно быстро его решат и расходятся по своим углам. Вместо одной, общей для всех тюрьмы существовало как будто пять отдельных тюрем-камер.

---

[1] Это обострение отношений между заключенными было последствием убийства П. Успенского, осужденного по нечаевскому делу, убийства, о котором до последнего времени в литературе не было никаких указаний вследствие молчаливого соглашения карийцев не касаться этого вопроса.

Мы, централисты, поставили себе задачей об'единить тюрьму и устранить все поводы к возможным недоразумениям. Мы понимали, что при стремлении одних работать для побега, а других как нибудь скоротать тюремную жизнь, невозможно создать единую цель, которая руководила бы действиями каждого из заключенных; мы также понимали, что со стороны людей, отказывающихся бежать, могли быть неосторожные разговоры, особенно на свиданиях вне тюрьмы, разговоры, которые другой стороной будут истолковываться чуть ли не как предательство. Поэтому мы поставили себе задачу организовать тюремную жизнь настолько, чтобы устранить все мелкие недоразумения, происходящие как по поводу подготовления побегов, так и по всем другим возможным поводам. Переговоривши кое с кем из старожилов тюрьмы, мы созвали ряд сходок, на которых обсуждали план организации. Сходки были многолюдны; очевидно, публика заинтересовалась делом. После продолжительных споров решено было избрать из среды каторжан особый орган из нескольких лиц, который предупреждал бы и разрешал все возникающие недоразумения и прежде всего недоразумения по поводу убийства Успенского. Следовательно, орган этот имел некоторые функции суда, но назывался ли он судилищем — я не помню. В этот орган были выбраны Зунделевич, я и еще кто-то — сейчас не могу вспомнить, кто именно. Мы внимательно выслушали обе стороны. Участники убийства и лица, им сочувствовавшие, утверждали, что Успенский, во время своих свиданий с женой, когда ему приходилось выходить за тюремную ограду, передал начальству о производившемся в тюрьме подкопе. Противники убийства глубоко верили в честность Успенского и доказывали, что у Успенского не было даже случая повидать наедине начальство. Независимо от показаний сторон, нам было ясно, что все подозрения о выдаче подкопа явились после болтовни смотрителя тюрьмы Тараторина — он был действительно тараторкою — о том, что начальство знает все, что затевают заключенные, и в том числе о предполагаемом побеге. Судьи, если так назвать наш выборный орган, решили единогласно, что Успенский никого и ничего не выдавал и что убийцы его действовали не по личным недоразумениям с Успенским, а вследствие опасения, что побег, о котором они мечтали и днем и ночью, может быть окончательно расстроен, если Успенский останется в живых.

Самое убийство совершено было задолго до нашего прихода на Кару. Успенский был повешен, не помню хорошенько, в бане или в умывальной комнате. Убийцами называли Юрковского, Баламеза и Игната Иванова.

После нашего приговора и публичных обсуждений тюремных вопросов, обсуждений, в которых принимали участие почти все заключенные, жизнь как будто начала налаживаться, по крайней мере мне казалось, что отчуждение между группами, представляющими разные и даже противоположные интересы, стало менее заметно. Но начальство сумело лучше нас сплотить заключенных. После открытого им побега на нас посыпались самые неожиданные репрессии и тогда придуманная нами организация оказалась излишней — все заключенные признали друг в друге братьев и всегда были готовы действовать заодно.

Так мы прожили на Каре до 1882 года. Однажды я обратил внимание, что Мышкин стал чересчур спокойным и даже мало интересовался общественными делами. Вскоре он пришел ко мне и заговорил о выработанном им плане побега. План состоял в том, чтобы провести его в мастерскую незаметно для конвойных и оставить в ней на ночь. В мастерской заблаговременно перед вечером можно незаметно выпилить отверстие в потолке, в которое он и уйдет ночью. Я ничего не имел против этого плана, так как не верил в побег через подкоп. Другие товарищи, не только из централистов, но и из участников в подкопах также отнеслись сочувственно к его плану, который, сколько мне помнится, не был доведен до общего сведения заключенных. Чтобы лучше использовать побег и облегчить его исполнение, решено было пригласить участвовать в нем еще одного человека; выбор пал на Хрущева, между прочим потому, что Хрущев был рабочим и легче, чем интеллигент, мог преодолевать все трудности дальнейшего путешествия. В один прекрасный день в мае Рогачев и я уложили Мышкина в ящик кровати—кровать была деревянная с двумя днами, образовывавшими ящик для склада вещей, — унесли при конвое кровать в мастерскую будто бы для починки. Рогачев как силач легко исполнил свою задачу; мне же стоило большого труда итти так, как будто я несу легкую вещь. Что касается Хрущева, то он просто прошел в мастерскую под конвоем, другие же заключенные стали часто ходить из тюрьмы в мастерскую и обратно, и им удалось запутать конвойных, так что Хрущев свободно остался в мастерской. Ночью они вылезли из нее через потолок и без всяких приключений отправились в дальний путь на Восток, чтобы пробраться во Владивосток, а оттуда уже легко было скрыться куда угодно.

Тюрьма с удовольствием узнала о побеге товарищей и приняла меры, чтобы скрывать их исчезновение во время вечерних и утренних поверок. Вместо Мышкина и Хрущева мы клали на нары чучела, представлявшие якобы спящих арестантов, и счет заключенных оказывался правильным. Вся тюрьма согласна была в том, что Мышкину и Хрущеву надо дать время дойти

до более или менее безопасного места. Правда, некоторые из готовившихся к побегу через подкопы скоро начали агитацию в том направлении, что вечно скрывать убежавших нельзя и поэтому следует использовать путь через мастерскую, открытый Мышкиным. В эту агитацию подлил масла в огонь приезд на Кару начальника тюремного управления Галкина-Врасского, посетившего и нашу тюрьму. Посещение его сошло благополучно, но он рекомендовал нашему начальству какие-то строгости, и желающие бежать опасались, что может открыться отсутствие Мышкина и Хрущева. Как бы то ни было, нам удалось некоторое время удерживать дальнейшие побеги. Нам было ясно, что лучше дать возможность двоим довести до конца свой побег, чем рисковать верным провалом, если побегут десятки заключенных. Наконец, у нас уже иссякли все способы задерживать дальнейшие побеги и примерно через 2½ недели убежала новая пара, за нею на другой день следующая, и так, кажется, мы выпустили 8 человек. Вместо исчезнувших мы клали на ночь чучела; среди нас явились такие художники, которые делали чучела даже с открытым лицом и все сходило благополучно. Когда ушла последняя пара, ее заметили и поймали. Мы заслышали тревогу и моментально растрепали все приготовленные чучела, так что, когда конвой явился ночью сделать экстренную поверку, чучел уже не было и потому недосчитались всех бежавших.

Начальство потеряло голову и сразу не предприняло против нас никаких репрессий. Тем временем по дорогам и в лесах стали искать убежавших и мало-по-малу изловили всех. Последними поймали Мышкина и Хрущева уже во Владивостоке, накануне дальнейшего отправления в путь. Кажется, они предполагали отправиться в Америку и уже оттуда приехать в Россию.

Тюрьма пережила жуткое состояние. Чувствовалось, что начальство готовится к какому-то серьезному шагу в смысле необузданных репрессий. Поэтому тюрьма подумывала об отпоре. После обсуждения способов сопротивления, остановились на следующем плане: назначить постоянный караул для наблюдения за тем, что будет происходить за стенами тюрьмы. При малейшей тревоге вход в тюрьму должен быть забаррикадирован, и в случае, если это не остановит нападающих, мы сами должны были поджечь тюрьму с разных сторон и сгореть живыми. Все необходимые роли были распределены между охотниками, а верховным командиром назначен был Дмитрий Рогачев, как бывший офицер. Жуткое состояние ожидания крупных событий продолжалось довольно долго, а начальство ничего не предпринимало. Страсти наконец улеглись, и караул был снят. Наконец, ночью под утро, когда уже светлело, тюрьма

была окружена большим количеством солдат; они ворвались в камеры и начали производить что-то в роде обыска, скорее погрома. Были случаи, когда в ход пускались приклады. В результате нас вывели из тюрьмы и развели по разным тюрьмам. Мне, например, пришлось отправиться в Усть-Кару, где почему-то мы не подверглись особым оскорблениям. В других же тюрьмах дело доходило до избиения. В это время нашу Карийскую тюрьму обыскивали тщательно и все-таки не открыли подкопа в Синедрионе. Уже потом кто-то выдал этот подкоп, и его тогда заделали.

После, примерно, двухмесячного раз'единения, нас опять свели в Карийскую тюрьму, рассадили по камерам по срокам каторги, так что я попал в бывшую Харчевку. Заведены были всевозможные строгости, нас запирали по камерам и аккуратно производили бритье голов и осмотр кандалов. Когда главные меры были приняты, начались мелочные придирки, которые теперь трудно вспомнить. Самым жестоким нам казалось беспричинное лишение нас книг. В тюрьму были введены жандармы-надзиратели, смотрителем был назначен жандармский офицер. Экономическое наше положение тоже ухудшилось — пришлось перейти на 75-копеечное довольствие в месяц для приобретения табаку, чая и пр., но к пище все таки нам удавалось прибавлять кое-что из своих средств. О побеге начато было следствие или вернее дознание и приостановлен был выпуск окончивших срок каторжных работ. По закону нам полагалась скидка двух месяцев в году за «хорошее поведение» и тоже, кажется, двух месяцев за то, что мы отбывали заключение в рудниках, а не на заводах и крепостях. В это время как-то приехал к нам флигель-ад'ютант Норд для применения к нам какого-то царского манифеста о сокращении сроков наказания и даже помилования некоторых из осужденных. Норд обошел наши камеры и первым делом полез под нары осмотреть, нет ли у нас собственного белья. Жены наших каторжан, жившие на свободе, первым делом явились к флигель-ад'ютанту узнать что нибудь о манифесте и пожаловались ему, что их мужей держат в каторге, хотя они и кончили уже свой срок заключения. Норд ошарашил их заявлением, что никаких сокращений сроков каторжных работ не может быть, кто осужден, например, на десять лет, должен просидеть число в число весь этот срок. Жены пришли в большое уныние и при первой возможности осведомили нас о словах флигель-ад'ютанта, после чего у нас сложилась поговорка: «вышел бы на волю, да пришел манифест, и остался на каторге». Норд опрашивал немногих из нас с целью применения к нам манифеста и особенно интересовался Веймаром, о котором он, повидимому, знал, что тот напрасно несет тяжелое наказание, но Веймар отвечал ему с достоинством и не

подошел под манифест, как равно и все другие опрошенные лица [1]. Впоследствии оказалось, что манифест был применим лишь к нескольким заключенным, называвшимся у нас колонистами. Это были люди, которые тайно от нас заявили начальству, что они отказываются от революционной деятельности [2]. Их немедленно отделяли от нас и переводили в другую тюрьму в одиночки. Появление «колонистов» я ставлю в связи с общим течением жизни в России. Как ни строго тюрьмы были отделены от жизни, но я замечал, что под'ем духа на воле отражался и в тюрьме, точно так же падение духа передавалось арестантам, точно по какому-то невидимому радио-телеграфу. Явление колонистов как раз совпало с тяжелым безвременьем восьмидесятых годов.

В поисках мер для обуздания политических преступников начальство стало все более и более приходить к мысли об уравнивании их с уголовными арестантами. Партии пересылаемых арестантов уже стали посылать смешанные из уголовных и политических. Подготовлялось устройство новой каторжной

---

[1] Веймар принимал участие в организации побега П. А. Кропоткина и других революционных актах. Особое внимание к нему Норда может быть об'яснено тем, что Веймар был врачом медицинского отряда, снаряженного императрицей Марией Федоровной во время войны с Турцией.

[2] Это неверно. Манифест был применен к некоторым политическим каторжанам, не подававшим прошения: Валуеву, Фанни Морейнис, Голикову, Бибергалю, Чернавскому и др. *Редакция.*

Ковалик смешал два момента: 1) Норд был прислан независимо от манифеста, с предложением подавать прошения, обещая выпускать из тюрьмы подавших. В мужской тюрьме подавали не многие. В женской ни одна не пожелала. Подавшие действительно без манифеста были выпущены сначала в вольную команду, а затем посланы на поселение. Даже участник 1 марта Емельянов.

Во время моего пребывания на Каре было издано несколько манифестов, по которым в с е м политическим и уголовным о д и н а к о в о сбавлялась 1/3 срока, а бессрочные переводились в 20-летние. По одному из этих манифестов была исключена часть политических (в том числе и я) последний манифест был применен и ко мне, и к Шехтер (впоследствии Доллер) не смотря на протесты. Манифесты запаздывали применением, благодаря тому, что местное начальство путалось в исчислении сроков. Так напр. было со мною. Сверх бессрочной каторги (которая тогда считалась 20 лет полностью тюремного заключения) мне набавлялись срок испытуемого за побег и проч,, вследствие чего срок испытуемый, который должен быть ч а с т ь ю срока превысил настоящий, т.-е. ч а с т ь оказалась больше целого. Зав. каторгой Томилин решил, что независимо от надбавки, считать мне срок 23 года.

Об'яснения Ковалика подачи прошений упадком на воле революционной волны неверны. Подавали люди (кроме Емельянова), случайно попавшие в революцию. Интересен такой факт: революционер много работавший среди рабочих и солдат на воле—в тюрьме стал убежденным монархистом, но когда к нему явились тюремщики с предложением подать прошение—он выгнал их самым грубым манером.

Прим. Е. Н. Ковальской.

тюрьмы, описанной потом Мельшиным-Якубовичем, в Акатуе для совместного отбывания работ уголовными и политическими. В этих заботах об уравнении политических с уголовными появилась особая мания у начальства подвергнуть телесному наказанию преступников из политических. Прежде, на основании устаревшего закона, политических, совершивших преступление после лишения их прав, приговаривали, как и уголовных, к плетям, но это наказание по отношению к политическим не исполнялось. В этом вопросе правительство действовало, однако, особенно в первое время, с осторожностью.

Среди нас на Каре сидел один бывший уголовный преступник Цыплов-Гарлюнов. Он, бежав с места заключения, оказал в Западной Сибири солидные услуги политическим ссыльным, что было известно и начальству, и потому, после нового осуждения его на каторгу, его привезли к нам и, как политического не подвергли телесному наказанию. Начальство решило первый опыт сечения произвести над ним. Однажды его увели из тюрьмы и наказали плетьми. Мы были в большом недоумении, как отнестись к этому событию, но в конце-концов не решились выступить с протестом по поводу сомнительного политического. Через некоторое время вызвали для освидетельствования врачем Овчинникова и еще кого-то. Овчинников, занимавшийся до знакомства с революционерами уголовными делами, давно уже был признан каторжанами за политического, а другой, вызывавшийся к врачу был доподлинно политический; поэтому тюрьма, догадываясь, что здоровье их исследуется для применения к ним прежнего приговора к плетям, всполошилась. Пошли по камерам рассуждения о том, как ответить на это грубое покушение. Выставлены были два проекта: принятие каких-либо насильственных мер или об'явление голодовки. Большинство высказалось за голодовку. Моя камера не верила, что голодовка могла быть выдержана до смерти и решила испытать последнее средство для изменения общего решения. Согласившись между собой, что мы пристанем к голодовке на следующий день после начала ее, мы заявили протест против голодовки, но ничего не добились — голодовка началась, и через день мы, также стали голодать. Во время голодовки мы позволили себе пить только воду. Нам, конечно, вначале подавали каждый день обед и ужин, но мы не дотрагивались до еды. Долго начальство не предпринимало ничего для прекращения голодовки; впрочем, однажды заявили, что врач будет насильно вводить нам пищу, но мы сказали, что будем сопротивляться. Примерно на десятый день голодовки начальство предложило нам прислать к нему депутатов для выяснения причин голодовки. Тюрьма

послала нашего старосту Бердникова, Мышкина и меня. Мы уже чувствовали тогда, что голодовка не будет выдержана до конца, тем не менее Мышкин ставил начальству в самой резкой форме наши требования, главное о неприменении телесного наказания и затем о некоторых наиболее важных для нас льготах. Начальство, слушая Мышкина, как я видел, не вполне ясно усвоило себе его требования, и более, повидимому, обратило внимание на резкий, казавшийся ему непримиримым, тон Мышкина. Я поэтому высказал эти же требования, но более спокойно. Никакого определенного ответа мы от начальства не получили, и голодовка некоторое время продолжалась, но уже в тюрьме начались разговоры о прекращении ее. На 13-й день после начала, а для нас, харчевцев, на 12-й, несмотря на наш протест, камеры приняли поданный им ужин. Мы тоже принуждены были принять, но нам было так досадно, что некоторое время мы не могли поднести ложку ко рту. Так 13-дневная голодовка окончилась, повидимому, ничем. Многие ослабели, но вредных последствий для голодающих не было. Мы особенно боялись за Бобохова, вечно болевшего, но ему голодовка, повидимому, пошла даже в пользу. Катарр желудка, которым он страдал, стал менее его мучить.

Голодовка вместе с другими, пережитыми нами передрягами, не осталась без влияния на каторжан. У многих заметен был упадок духа, что между прочим выразилось в переходе некоторых в «колонисты». Веймар и еще несколько человек стали морфинистами, но большинство оставалось насколько возможно бодрыми.

Голодовка оказала воздействие и на начальство. Оно не решилось прибегнуть к телесному наказанию намеченных лиц и стало давать нам некоторые льготы — возвращены были книги и допускались посещения чужих камер. Мы тоже понемногу успокаивались и с не бывалой до того энергией принялись за изучение наук и особенно иностранных языков. На ряду с этим выдвинулся вопрос о самообразовании. У нас было несколько рабочих, нуждавшихся в элементарном образовании. Мы завели, если можно так выразиться, ряд школ с учителями из своих же товарищей. Я начал читать лекции по высшей математике, но успел только преподать основы дифференциального исчисления. К удивлению моему, оказалось, что у меня было наибольшее число слушателей. Это об'ясняется тем, что успокоение, после пережитых тревог, вызвало во многих потребность к изучению самых отвлеченных наук. Школы наши просуществовали недолго. Начальство чего-то испугалось и запретило хождение в чужие камеры.

Тем временем, некоторые из нас, и я в том числе, досидели свои сроки каторги и даже пересидели. Следствие о побеге не

дало никаких особенных результатов, и нас начали выпускать на поселение.

Следствие, производившееся по поводу побегов, ничего не обнаружило, но, с точки зрения властей, необходимо было применить репрессию. Около десятка каторжан было отправлено в Шлиссельбург [1], а тех, кто окончил срок каторжных работ, начали выпускать на поселение. Попко почему-то не попал в Шлиссельбург и, после моего от'езда, умер на Каре. Так как во время следствия задержан был перевод на поселение окончивших срок работ, то в первую партию вошло несколько человек с близкими сроками каторги, в том числе и я. Нас отправили на поселение в Якутскую область, а меня назначили, как более «опасного» в Верхоянск. Путешествие наше продолжалось довольно долго, так как нам пришлось проехать более 3.000 верст. В Якутске я расстался с товарищами и уже один поехал в Верхоянск в сопровождении казака. До Верхоянского хребта мы ехали на лошадях в глубокий мороз — дело было в начале 1884 г., — мне товарищи достали полу-кибитку, и я не очень терпел от мороза. От хребта и иногда через самый хребет поездка совершалась на оленях в особых легких санях (нартах). На каждую пару оленей полагался один седок или пудов 5—6 клади, поэтому мы с казаком занимали нарт пять, нарты были соединены в один поезд с ямщиком во главе. Хребет довольно крутой, с него обыкновенно спускаются, направляя нарту вперед и привязывая к ней сзади оленей, которые упираются ногами и не позволяют нарте лететь вниз стремглав. Впрочем меня везли по менее крутой, так называемой лошадиной тропе.

Станции расположены верстах в 150 одна от другой, а между ними находились совершенно не жилые, так называемые, поварни. Путешественники, останавливаясь на ночлег в поварнях, должны были сами нарубить дров и отопить помещение. Дорогой нигде нельзя достать провизии и потому приходилось пудами запасаться ею в Якутске. Казак нисколько не напоминал воина или полицейского, и, наблюдая наше путешествие со стороны, трудно было решить, кто кого везет: я ли его или он меня; кормить же его во всяком случае приходилось мне. Он лучше говорил по-якутски, чем по-русски и притом, как калмычанин по происхождению, некоторых русских букв не выговаривал. Я уже успел узнать несколько якутских слов, в том числе слово «соль». Однажды казак попросил у меня чего-то к обеду,

---

[1] Не прямо в Шлиссельбург, а сперва в Петропавловскую крепость. Отправлены были Мышкин, Долгушин, Щедрин, Попов Михаил, Иванов Игнат, Минаков, Малавский, Буцинский, Геллис, Юрковский, Крыжановский, Волошенко и Орлов Павел. Все они из Петропавловской крепости были переведены в Шлиссельбург, кроме Крыжановского, отправленного на Сахалин, и Волошенко и Орлова, возвращенных на Кару.

и я никак не мог разобрать чего. Я наудачу попросил сказать по-якутски и только тогда узнал, что ему нужна соль — ранее он все повторял «шой». От Якутска до Верхоянска 1.000 верст, и мы были в дороге дней десять или более. В Верхоянске мы под'ехали прямо к полицейскому управлению, где меня встретили товарищи политические и увели к себе на квартиру, находившуюся менее, чем в полуверсте от полиции. Я не предпринял никаких мер предосторожности и в короткое время отморозил себ нос. Незадолго до моего приезда политических разогнали из Верхоянска за неудавшийся побег вниз по Яне в лодке, сооруженной ими самими, и я застал только Арцыбушева, жену его, Александрову и Зака; впрочем, кажется, и Стопани уже был в Верхоянске или скоро приехал. Зак скоро был увезен, и остался только я с Арцыбушевым. Вскоре я купил себе домик за 60 руб. на другом конце города и переехал туда. Пособия от казны я получал 15 руб. в месяц и мог на них прожить, хотя и далеко не роскошно. Арцыбушев не вел знакомства, не имел никакой работы и все время сидел или вернее лежал у себя в доме. Приходя к нему и осмотревшись, я перечислял ему все произведенные им за день работы в доме и всегда угадывал верно. Это мне удавалось потому, что я находил на полу все орудия — топор, нож и т. п., — которые он употреблял в течение дня. Верхоянск находится у полярного круга и потому в декабре солнца не бывает видно. Я, кажется, первый открыл Арцыбушеву, что несмотря на это, часа в два в Верхоянске бывает относительно светло. Арцыбушев по ночам читал и вставал уже тогда, когда наступали вечерние сумерки, т.-е. во втором часу дня. Несмотря на такое пассивное отношение к жизни, Арцыбушев был человек с большой энергией, пользовавшийся известностью в революционном мире.

После меня приехал в Верхоянск Войнаральский, его поселили в 25 верстах от города, где с помощью якутов он выстроил себе домик-юрту. Для постройки юрты не нужно быть плотником. Каждый может поставить четыре столба, связать их поперечными перекладинками, настлать потолок и приставить косо к перекладинам бревна, служащие стенами. Остается сделать кое-какие двери, оставить дверки для окна, на верх насыпать земли, а стены обмазать глиной — и дом готов. Зимой к оконным отверстиям приставляются льдины, пропускающие в юрту свет. Летом льдины заменяются обыкновенной слюдой и в редких случаях стеклянными рамами. Печки устраиваются тоже просто: собственно печек у якутов нет и их заменяют камины, устраиваемые в виде широкой трубы из жердей, обмазанных внутри толстым слоем глины. У Войнаральского юрта была довольно просторная. Меня тоже временно выслали в улус, т.-е. в волость, населенную

якутами, где я проживал у одного уголовного ссыльного и скоро вернулся в город. В улусе нет сплошных поселений, и якуты живут каждая семья отдельно верстах в 2—5, а в малонаселенных местах до 50 от соседняго жителя. В улусе я подучился немного якутскому языку, Войнаральский же с большим усердием занялся им и скоро свободно об'яснялся с якутами. Вернувшись в город, я стал подумывать о работе; первым делом мне хотелось купить себе коня, чтобы можно было свободно раз'езжать весной по улусу для ознакомления с интересовавшею меня жизнью якутов. Как только настало светлое время года, я в полиции взял подряд на устройство кроватей для больницы за 50 руб., которые и употребил потом на покупку лошади.

Верхоянск начал понемногу наполняться ссыльными. При мне прибыли: Мельников, Шульмейстер, Соломонов, Говорухин, Френкель, Гуревич с женой, Эдельман, Виярский, Капгер с женой, Бызов с женой (солдат, осужденный за сношения с Нечаевым в Петропавловской крепости), и может быть еще один или два, фамилии которых не помню. Все они жили почти исключительно на пособия; местный купец, якут, давал им нужные товары в кредит. Мельников и Соломонов жили вместе со мной, для чего я расширил пристройкою свой домик. Остальные жили по одиночке или вдвоем на наемных квартирах. Соломонов и Капгер с женой приехали в Верхоянск уже после побоища, бывшего в Якутске в 1889 г. Жили ссыльные преимущественно своим кругом, хотя некоторые бывали и в местном обществе, которое было очень немногочисленно и готово было принять в свою среду самого «опасного» ссыльного. Войнаральский занимался торговлей, которую начал с целью покрыть долг, оставшийся после побега ссыльных. Мельников тоже на недолгое время пристроился к торговле. Оба они оказались плохими купцами и в конце концов разорились. Я первое время занимался столярным ремеслом, а затем обратился в печника. Когда я расширял свой дом, якут печник, работавший в Верхоянске, куда-то исчез, мне же необходимы были печи, которые и пришлось делать самому. До этого времени я никогда не видел внутренности печи и не знал устройства, поэтому мне пришлось «изобретать». В конце концов я напал на самый обыкновенный план голландки. Настоящих голландок в городе не было — тамошние печи имели каких-нибудь пол-оборота, так что при хорошей топке из трубы выходил огонь. В таких местах, как Верхоянск, слава приобретается легко: увидев мою печь, обыватели стали заказывать мне постройку печей, полиция не отставала от них, и я был обеспечен работой полностью. Для кладки печей я пригласил Резника, а некоторые товарищи делали кирпич-сырец; — жженого кирпича

в Верхоянске не было. Кроме этого, ссыльные иногда находили себе работу: один из них служил у местного купца-якута. Ссыльные пробовали ловить рыбу и рубить дрова, но особой удачи не имели. Когда я обстроил печи в городе, то, совместно с Соломоновым, принялся за плотническую работу. Она оказала на Соломонова благоприятное влияние; — он приехал к нам в Верхоянск с сильно расстроенными нервами вследствие событий, происшедших в Якутске, кончившихся смертью нескольких ссыльных; друг его Зотов был ранен, затем казнен. Это было уже в 1889 году. Мы с Соломоновым построили себе новый дом, а старый отдали в аренду доктору, взявшемуся уплатить наш долг купцу. У большинства ссыльных особых занятий не было, но и при ничегонеделании мы вели в общем дружную жизнь; я помню только одно небольшое недоразумение между двумя ссыльными. Деловые общие собрания у нас бывали редко, только одно время сходились для обсуждения вопросов о тактике по отношению к начальству, но это не вызывало никаких недоразумений, и жизнь шла тихо и мирно. На 1 мая мы выходили не в поле, так как полей в крае не было, а на луг, и гуляли почти целый день, ведя между собой приличные случаю беседы. В общем большинство жило скучновато, хотя бы уже потому, что в Верхоянске не могло явиться сколько-нибудь серьезных планов побега; выйти из города было легко, но пройти далекий путь до Якутска или на север не было никакой возможности, потому что якуты всегда знали о всех мельчайших событиях в крае и даже о том, кто куда поехал или пошел. Новости этого рода они охотно передавали друг другу, и в случае побега кого-нибудь — якуты, без всякой цели донести, рассказывали бы в городе о том, что в таком-то месте повстречался им неизвестный человек такого-то вида. Впрочем, надо признаться, я долго лелеял мысль о побеге, но, не имея определенного плана, не высказывал ее товарищам.

Небольшое оживление у нас замечалось раз в три месяца — во время прихода из Якутска почты. Жители города, состоявшего из каких-нибудь полсотни домов, высыпали все на улицу, чтобы услышать какие-либо новости, ссыльные же направлялись в полицейское управление для получения писем и газет. Письма нам выдавались большей частью не распечатанные. Первые дни по приходе почты мы набрасывались на газеты, но, кажется, ни у кого не хватало терпения прочесть все по порядку по номерам. Книг у нас было мало, так что предаваться усердно чтению или научным занятиям почти не было возможности. Более других занимался Шульмейстер. Он был выдающийся человек и представлял собой интересный тип. До вступления на революционный путь он готовился в раввины и изучил хорошо священное писание; захваченный революционными идеями, он

путем самообразования скоро стал вполне интеллигентным человеком; от раввинства же у него осталась способность к отвлеченному мышлению. Он и в Верхоянске сравнительно много читал, но охотно приходил в компанию, чтобы поиграть в винт. В 1900 году я встретил его, в качестве эмигранта, в Париже и дальнейшей судьбы его не знаю; полагаю, что он приспособился к французской жизни. В другом отношении не безынтересным типом был Стопани. Он в 1873 году случайно попал в среду революционеров и, долго не раздумывая, крепко воспринял революционную идею. (В Верхоянске он изрядно выпивал, но и в пьяном виде часто говорил о революции). Последнее время моего пребывания в Верхоянске я заметил, что он захандрил и стал все чаще и чаще говорить, что он уйдет из Верхоянска. Однажды я взял у местного учителя народной школы кусок мыла, под натуру, как у нас говорили, т.-е. с обязательством возвратить его, когда получу из Якуты. Мыло было завернуто в какую-то исписанную бумажку (которая оказалась подлинным заявлением Стопани на имя исправника о том, что он, Стопани, в сущности есть разыскиваемый правительством Дегаев). Стопани надеялся, что после такого заявления его увезут из Верхоянска, но полиция даже не внесла такой важной бумаги во входящий журнал и передала ее тоже в виде обертки для мыла учителю. Стопани имел известные способности и даже часто писал недурные стихи. Одно из его стихотворений понравилось обывателям и они часто распевали его хором. Нельзя не отметить также, в качестве особого характерного типа, и Капгера. Это был способный и высоконравственный человек, имевший много общего с толстовцами. Я не знаю, при каких обстоятельствах он стал революционером, но раз сделавшись таковым, он добросовестно исполнял все, к чему обязывало его звание и не отказался участвовать в Якутской истории, исход которой мало вязался с его идеалом нравственности, не допускающим насилия и тем более убийства. Он в Верхоянске работал над собственным самосовершенствованием, но по возвращении в Россию отказался от всего, чем дорожил в молодости и чуть ли не всецело вошел в дворянскую среду, с которой он боролся во время своего революционного периода жизни.

Обыватели Верхоянска, не исключая и чинов полиции, не сторонились от ссыльных, как это бывало в больших городах, но большинство ссыльных имело мало сношений с ними. Точно также большинство ссыльных редко встречалось с якутами и не выучилось говорить по-якутски. Как в городе у обывателей, так и в улусах у якутов, твердо соблюдалось внешнее выражение почтения к человеку, по степени его важности или влиятельности. На самое первое место в обществе сажали исправника

и ему подавали первый стакан чаю, хотя бы присутствовали дамы и даже заметные лица, как протоиерей, доктор и т. п., но по отношению к политическим ссыльным и те, и другие, особенно якуты, путались и не умели раз и навсегда определить положение их в обществе. Однажды я, местный купец и письмоводитель, вернее секретарь инородческой управы ехали вместе и должны были сделать остановку[1] для обеда у одного, всем нам известного, довольно состоятельного якута. Этот якут обыкновенно к прибору самого важного, по его мнению, лица клал большую серебряную ложку, которую он имел в единственном экземпляре, а остальным обыкновенные тоже серебряные, но обыкновенного размера ложки. Я предложил спутникам решить вопрос, кто из нас удостоится большой ложки, и они не могли решить. Сам якут, повидимому, тоже не мог решить этого вопроса и всем положил обыкновенные ложки. О политических ссыльных якуты по своему соображали, что те ведут борьбу с царем, значит, сами происходят из знатных сословий, но теперь преследуются и потому трудно установить к ним то или другое твердое отношение. Присутствие в нашей среде многих евреев, принадлежащих к гонимой расе и во всяком случае далеких от царя, ничего не могло об'яснить якутам, так как они не имели понятия о национальностях, живущих в России, и всех наших евреев считали и называли русскими. Якуты часто, особенно в путешествиях своих, напевают о всем том, что они видели, и однажды я слышал о нашем Френкеле песнь, начинающуюся словами «пятизубый Френкель» и т. д. Пятизубым он был назван потому, что у него были редкие зубы, но в общем певец относился к нему добродушно.

Из нас более других встречались с якутами: Войнаральский, я, Мельников и Стопани; — последний жил с якуткой; Войнаральский тоже был женат на якутке. Я тоже женился в Верхоянске на приезжей из России акушерке, для которой мне приходилось иногда служить переводчиком. Кстати, замечу, что политические ссыльные в Якутской области находили себе жен почти только в одном «классе» женщин — среди акушерок. Конечно, были браки с ссыльными женщинами, но у нас, в Верхоянске, не было ссыльных девушек и даже из женщин, за исключением самого первого времени, только одна Зороастрова, жена Капгера.

Я довольно часто ездил в «якуты», чтобы познакомиться с их жизнью и написал брошюрку «Верхоянские якуты», для напечатания которой потребовалось разрешение Иркутского генерал-губернатора. Особым знатоком якутов был Войнаральский.

[1] Каждый проезжающий может в любое время дня и ночи заехать в улусе в дом к якуту и ему дадут место и даже накормят и напоят, если у хозяина есть что-либо из пищи, т. е. если он не круглый бедняк.

Войнаральский открыл у себя небольшое производство — мыловарение, но зола от единственного почти растущего в крае дерева-лиственницы — не годилась для этого производства, потому что содержала мало щелочей. Чтобы ему помочь, я на лошади, купленной мною за первые полученные по столярному подряду деньги, отправился в далекий путь (в местность Бытинтай) верстах в 150 от Верхоянска, где растет тополь, признаваемый впрочем некоторыми учеными за особую разновидность осины. Там я сооружал громадные костры и вывез несколько пудов золы. Нужно заметить, что лес в Верхоянском округе считается не принадлежащим никому, а потому каждый мог его рубить сколько угодно.

В Верхоянском крае было довольно сложное судопроизводство. Существовало три степени так называемой словесной расправы: 1) староста или князь, судивший словесно в том месте, где его застанут тяжущиеся, 2) улусная управа, находящаяся в Верхоянске и 3) полицейское управление. Первые две инстанции якуты проходили большей частью сами, не требуя «адвоката». Впрочем, в управу приходилось иногда подавать письменные заявления. Для суда в высшей инстанции — полицейском управлении — в большинстве случаев уже требовался адвокат, могущий написать прошение или об'яснение. Войнаральский имел довольно обширную практику. Мне также приходилось довольно часто писать для якутов, которые потом привозили мне что-нибудь в вознаграждение. Однажды ко мне обратился якут, обвинявшийся в растрате, в качестве опекуна вверенного ему на хранение имущества. Он не умел мне рассказать, как было дело, и потому я вначале отказался писать ему и сказал, что такое дело можно выиграть только взяткой. Он отправился к исправнику и намекнул ему о вознаграждении, но, по его словам, исправник, узнав, что он был у меня, отказался принять какое бы то ни было вознаграждение. На его усиленные просьбы я обещал ему познакомиться с делом и скоро просмотрел в полиции несколько томов, исписанных по вопросу о якобы растраченном им имуществе. Из чтения я убедился, что это дело не имело никаких оснований и раздуто неумелыми судьями-администраторами. Тогда я написал якуту прошение, и он быстро выиграл дело. Якут обещал мне дать за дело коня, а исправник благодарил за то, что я распутал дело, и предлагал мне даже вознаграждение: я шутя потребовал 6 листов бумаги, которые и получил, якут же уехал, и в течение года или более я его не видел. Однажды потом мне пришось быть в его краях, чтобы встретить небольшой транспорт чаю, сахару и пр., выписанный мною из Якутска. Мне пришлось совершенно случайно остановиться в доме моего якута, к которому пришел на ночлег и мой транспорт. Якут попросил у меня, не напоминая о выигранном

мною деле, — фунт чаю — я дал; тогда он сказал, что к чаю нужно дать два фунта сахару; я тоже дал, полагая, что это все он желает взять за прокорм лошадей.

Наконец он просит у меня бутылку водки, которую распил тут же, подчуя и меня. На другой день утром он об'являет мне, что на дворе для меня привязан черный конь — такие кони особенно ценятся в Верхоянске по редкости. Только тогда я понял ясно, что он заставил меня проделать весь обряд так называемого в крае «гощенья», разница была только в том, что если бы я «гостил» его, то я должен был бы налить ему первую рюмку водки из бутылки и со словами «гощу» передать ему бутылку. Все русские, начиная от исправника и протоиерея и кончая самым маленьким из служащих, занимались гощением якутов, чтобы получить от них почти даром коров и лошадей. Исправнику давался обыкновенно конь за такое гощение, которое якут заставил проделать меня, а остальные, смотря по чину, должны были приложить пять или десять рублей деньгами. Местные русские постоянно прибегали к этому обряду гощения и даже злоупотребляли им; якуты, с одной стороны, были недовольны наносимым им материальным ущербом, но, с другой стороны, видели в этом особый оказываемый им почет.

Мне пришлось еще один раз проделать, уже по собственному почину, обряд гощения.

Однажды я за 150 или 200 верст от города встретил двух политических ссыльных, направляемых через Верхоянск в Колымск. Они просили хозяина почтовой станции, богатого якута, продать им мяса, но он отказал им. Так как они нуждались в пище, то я предложил им свою помощь. Взяв у них бутылку водки, я проделал весь обряд гощения хозяина, который, видимо, как человек скупой, принял его не очень благосклонно. Но когда я начал говорить, что я гощу не на коня и корову, а только на то, чтобы он продал за деньги проезжающим мяса, он повеселел и мгновенно доставил просимое.

Во время моего пребывания в Верхоянске полиция относилась в общем к нам благожелательно и даже с некоторым почтением. Одно время исправником был в общем не дурной человек, любивший выпить и в пьяном виде скандаливший, вплоть до драки, или вернее до избиения своего противника. Однажды он бросился с кулаками на местного учителя, но тот бежал, а исправник за ним. Учитель наконец забежал ко мне на двор, ища спасения, и исправник тотчас остановился. Таким образом, мой дом оказался чем - то вроде места, куда мог скрыться от преследования всякий обыватель. Если таково было отношение к нам властей, то понятно, мы могли даже не замечать существования казаков, находившихся в распоряжении полиции; казаки были для нас даже полезными: они продавали нам

получаемую в паек муку рублей по пяти пуд, в то время как она стоила в казенном магазине 7 р. Казаки были в большинстве об'якучены, говорили лучше по якутски, чем по русски, в качестве оружия имели испорченные, но могущие стрелять ружья, и совершенно не похожи были на грозную воинственную силу. Я часто говорил, что три хорошо вооруженные человека могли бы арестовать начальство и об'явить в Верхоянске республику, могущую до прихода войск из Якутска просуществовать несколько месяцев.

Верхоянск считается полюсом холода, зимою температура доходит до 70 градусов мороза по Цельсию, лето очень короткое — я помню один год, когда последний весенний мороз был 7 июня, а первый осенний — 7 июля. Понятно, что при этих условиях заниматься земледелием было невозможно. Впрочем, мы пробовали сеять ячмень и однажды собрали несколько поспевших колосьев. Несмотря на такие неблагоприятные условия, мы занимались огородничеством или вернее подобием его. Мы сажали капусту, но вилков не получали и на зиму собирали только листья, картофель у нас получался, но только мелкий.

Я прожил в Верхоянске до 1890 года. После Якутского побоища положение наше в Верхоянске не изменилось, но в последнее время, хотя и без видимых оснований, мы как будто ожидали чего-то неприятного. До моего от'езда наши ожидания не оправдались, но после него и в Верхоянске произошло столкновение между ссыльными и начальством. Ко времени моего от'езда я уже считался не поселенцем, а устьянским крестьянином и мне разрешено было переехать на жизнь в Балаганск, Иркутской губернии, где я прожил недолго и полулегально перебрался с семьей в Иркутск, а оттуда отправился по поручению местного отдела Географического общества на прииски в Олекминский округ для изучения влияния приисков на жизнь якутов. Инициатором дела об использовании сил политических преступников для изучения края был административно сосланный Клеменц, один из бывших видных чайковцев, занимавший должность секретаря Географического общества. Генерал-губернатор Горемыкин относился к нему благосклонно и однажды за его работы в Географическом обществе подарил ему часы, на наружной доске которых была выгравирована тройка лошадей. Показывая эти часы, Клеменц обыкновенно говорил, что они должны напоминать ему о немедленной высылке на тройке, если он позволит себе действовать более или менее свободно.

Собственно говоря, описанием жизни в Верхоянске кончается мой очерк жизни ссыльных, но я считаю не безынтересным сказать несколько слов о тогдашнем Иркутске, в котором также проживали ссыльные, но уже признаваемые начальством за полуграждан.

Самая большая группа ссыльных сосредоточивалась в крупном торговом деле Громова, где они занимали более видные места. Сюда относятся: Лянды, Любовец и др. Другая группа служила на строящейся железной дороге: Паули, Дзбановский, Лури и пр. Я тоже временно служил на железной дороге, но в канцелярии. Затем были отдельные личности: Яковенко с женой, женщиной врачем, известный писатель Серошевский, Брешко-Брешковская, я, Заичневский, старый революционер, вокруг которого группировался небольшой кружок; из него я помню Голубева и Стеблин-Каменского.

В Иркутске выходила довольна популярная в то время газета «Восточное Обозрение», редактором которой после Ядринцева был И. И. Попов; он же был и издателем газеты, на что давала ему средства жена, происходившая из богатой кяхтинской семьи. По возвращении с приисков, а частью и ранее, я также сотрудничал в газете и вел отдел сибирской хроники. Местные жители, благодаря этому, считали меня за сибиряка. В газете сотрудничали, с одной стороны, политические ссыльные: я, Заичневский, Лянды и Ефремов, позднее других приехавший в Иркутск, с другой, видные чиновники генерал-губернатора: Корнилов и Дубенский. По делам газеты разномыслия у нас не было. Генерал-губернатор повидимому знал об участии в газете своих чиновников, но терпел это; однажды, когда напечатан был в газете протест против издававшегося в Томске «Сибирского Вестника», подписанный вышеупомянутыми чиновниками и ссыльными, генерал-губернатор пожурил подведомственных ему чинов и когда ему кто-то доложил, что политические тоже подписали протест, он сказал, — ну, политические это другое дело, они за то и присланы, а чиновникам протестовать в печати неприлично.

В Иркутске мы изредка собирались, а многие из нас бывали на журфиксах у редактора газеты и у Лянды. Ссыльные жили в Иркутске обыкновенною городскою жизнью, как люди в большинстве занятые. Приезжие из дальних мест простые «мужички» с трудом приспособлялись к этой новой для них жизни. Они здесь уже не решались, как в Верхоянске, напр., остановиться по приезде в город у кого-либо из старожилов, а заезжали в гостиницу или к еще не успевшему «цивилизоваться» горожанину, вроде меня. Некоторые из иркутян считались даже визитами. Несмотря на это, почти все иркутяне оставались при прежних своих революционных убеждениях. Заичневский же шел, можно сказать, и дальше. Кружок, сформировавшийся около него, внес в свой символ веры требование, что браки, как служащие часто помехой к революционной деятельности, должны быть исключены из жизни людей, желающих предаться служению делу. Незадолго до моего от'-

езда из Иркутска туда явился Натансон с женой и некоторые из народоправцев. В Натансоне в это время заметен был интерес к Марксу и социал-демократическому направлению, но по возвращении после революции 1905 года в Петербург он впоследствии стал не социал-демократом, а эс-эром.

В Иркутске, в начале моего пребывания там, еще не было социал-демократов, но потом поселился убежденный социал-демократ и потом большевик — Красин; случайно проездом бывали и другие.

Политические ссыльные имели известное влияние на Иркутское общество, но настоящей пропаганды они не вели. Молодежь местная в это время еще переживала нечто вроде начала 60-х годов и в ней стала пробуждаться жажда знаний, но о какой-нибудь положительной деятельности она еще не думала. Брешко-Брешковская пробовала вести пропаганду между девицами, мечтавшими о высшем образовании, но не имела успеха, и девицы остались ею недовольны. Независимо от этого и условия полицейского надзора делали пропаганду со стороны политических ссыльных почти невозможной.

Меня и Войнаральского обыкновенно обходили в царских манифестах, но последний, изданный во время моего пребывания в Иркутске, коснулся и нас. Значась сибирскими крестьянами, мы по нашим судебным приговорам не имели, кажется, в течение 20 лет права проживать в Европейской России. По манифесту это право было дано всем крестьянам из ссыльных: мы не были из него исключены. Войнаральский отправился в Россию в 1897 году и там умер. Я мог выехать только в 1898 году и поселился в городе Минске, где и встретил две революции 1905 и 1917 годов.

Именной указатель.

Л.

М.

Т.

У.

Ф.

Х.

Ц.

Популярная библиотека
журнала
„Каторга и Ссылка“
за 1927 год.

